

## Июль 1860

Неаполитанские и сицилийские дела. — Баденское свидание. — Судьба билля об отмене пошлины с бумаги в Англии. — Извлечение из палермской корреспонденции «Times'a».

Капитуляция неаполитанской армии в Палермо кажется делом невероятным для того, кто не вникнет в нравственное состояние войск, почувствовавших себя бессильными против неприятеля, который имел в три или в четыре раза меньше солдат, чем они, а из этих солдат не более тысячи человек годных на серьезный бой с неаполитанскою армиею, считавшею около 20 000 человек. Победа Гарибальди покажется еще страннее, когда мы сообразим, что неаполитанские войска держались в позициях чрезвычайно крепких и располагали многочисленною артиллериею: характер битвы был тот, что несколько сот человек штурмовали форты, занятые неприятелем в двадцать раз сильнейшим, и заставили его сдаться. Это походит на нелепую сказку. Положим, что Гарибальди и офицеры его штаба люди очень больших военных дарований, а неаполитанские генералы в Палермо были люди посредственных или даже малых способностей. Но ведь Наполеон говорил, что самый гениальный полководец всегда будет принужден отступить в битве с армиею вдвое большего числа, как бы плохи ни были полководцы этой армии, если она сама имеет хотя посредственное мужество. Положим, что на стороне Гарибальди было все население города; но мы знаем, что палермцы были доведены прежним своим положением до совершенной неспособности действовать оружием без долгого предварительного обучения. Эти бедняки во все время борьбы только бегали по улицам и кричали, как маленькие дети: военной помощи Гарибальди получил от них, несмотря на все их сочувствие к нему, меньше, чем получил бы от сотни мужчин, достойных называться мужчинами. Правда также, что, кроме 1 000 человек волонтеров, приехавших с ним из Италии, у него было в Палермо тысячи четыре или тысяч пять сицилийских инсургентов. Два месяца

тому назад, еще не имея сведений о способе войны, какую вели они до прибытия Гарибальди, мы полагали, что следует считать этих инсургентов очень храбрыми солдатами. Но теперь, когда дело разъяснилось, мы видим, что совершенно ошиблись во мнении о их боевой годности. Правда, каждый из них сам по себе человек смелый. Но не было у них решительно никакого приготовления к военному делу. Положение сицилийцев было в этом отношении беспримерно между европейскими народами. Везде вы найдете довольно много людей, бывших в военной службе, имеющих какое-нибудь понятие о военной дисциплине, сколько-нибудь знающих, что главное дело в походе — сохранять присутствие духа, а в битве — помнить, что треск ружейных выстрелов вовсе не так опасен, как шумен, что из сотен пуль попадает лишь одна, что истинная опасность постигает солдат лишь тогда, когда они смешаются. Эти люди больше или меньше готовят своими обыденными рассказами в мирное время остальное население понимать военные надобности, готовят его хоть к тому, чтобы из него могли выходить сносные рекруты. Они же, в случае надобности, обучают других, сдерживают их своим примером, — в Сицилии ничего подобного не было. Давно уже неаполитанское правительство перестало брать сицилийцев в солдаты. На острове совершенно не было людей, когда-нибудь стоявших под ружьем, делавших походы порядочным образом. Вооруженные толпы, составившиеся из сицилийцев, оказались такими же непригодными выдерживать схватку, как неспособны оказались бы уметь держать себя во время морской бури люди, привезенные на корабль прямо из таких мест, где население не видало и речных судов. Они суежились, пугались всякого вздора, бестолку шумели; бестолку стреляли, когда стрелять было еще рано; оставались уже без зарядов, когда наступало время стрелять, и прятались от каждого неприятельского выстрела, как будто одна пуля перебьет всех их. Все их военные действия ограничивались тем, что они уходили с ружьями в горы, стреляли издали по неаполитанским отрядам и отступали дальше в горы, когда эти отряды приближались к ним на версту. Догнать их было нельзя, нельзя было и победить, не догнавши, потому неаполитанцы не могли усмирить восстания, как не может охотник прекратить шума и беготни зверей в лесу. Но что делать, когда их подведут к неприятелю ближе версты, — сицилийские инсургенты решительно не знали; они совершенно терялись при всяком сколько-нибудь серьезном столкновении. Повторяем, что нельзя сомневаться в способности каждого из них стать хорошим солдатом. Но ему было нужно несколько недель практики, чтобы сделаться похожим хотя на то, каковы бывают в других странах рекруты через день по принятии в службу. А потом нужно было бы еще несколько недель практики, чтобы сделать этих рекрутов способными действовать в битве. Времени на это обучение недо-

стало, когда они пришли в Палермо. Они были хуже всякой толпы французских или немецких рекрут. Они могли только мешать действию хороших солдат и, точно, при вступлении Гарибальди в Палермо несколько раз чуть не расстраивали всего дела то своею бестолковою торопливостью, то своею дикою путливостью. Собственно борьбу выдерживали только те тысяча человек, которых привез Гарибальди из Северной Италии. Правда, эти тысяча человек — люди, закаленные в битвах, отборнейшие солдаты, каких только можно найти; правда, ни один из них не отступит шага, ни один не отдастся в плен, каждый будет сражаться до последнего дыхания и дорого продаст свою жизнь. Но все-таки тысяча человек, каковы бы ни были они, не могут выдержать битву с тремя или четырьмя тысячами посредственных солдат, не говоря уже о пятнадцати или двадцати тысячах. Развязка палермских событий противна всякому военному правдоподобию; потому неаполитанское правительство предало суду генералов и штаб-офицеров, бывших в Палермо. Обвинений против них два: они подозреваются в измене и осуждаются за чрезвычайную неспособность. Но говорить об измене Ланцы и его сотоварищей значит говорить совершенную нелепость. Многие унтер-офицеры действительно дезертировали; многие офицеры младших чинов, поручики и капитаны, быть может несколько батальонных командиров, вовсе не сочувствовали делу, за которое сражались, — но ведь и они только печалились, только желали прекращения битвы, а все-таки сражались по команде; что же касается до старших офицеров и генералов, они все были преданы правительству, которому служили, и мысль об измене королю была от них так же далеко, как от самого Гарибальди мысль изменить сицилийцам. Они действовали очень усердно. Но умели ли они действовать? Нет возможности открыть в неаполитанских генералах следы особенной даровитости, но все-таки распоряжались они вовсе недурно. Обвинять полководца в неуспехе его действий вещь самая обыкновенная. Так, например, Ланца, явившись в Палермо, нашел распоряжения своего предшественника, Сальцано, очень неблагоразумными; теперь говорят то же самое о его распоряжениях. Но всматриваясь в события похода, мы находим, что то и другое порицание одинаково несправедливы. Едва Гарибальди высадился, Сальцано тотчас умел сообразить, что он должен двинуться на Палермо, а не по какому-нибудь другому направлению, и рассудительно выбрал пункт, на котором надобно задержать его. Калата-Фимская позиция — самая крепкая на всем пути от Марсалы до Палермо; она самая важная на всем этом пространстве и в стратегическом отношении, служа узлом всех дорог от Марсалы. Если бы неаполитанцы удержались в Калата-Фимском дефиле, Гарибальди не мог бы обойти их, остался бы заперт в небольшом северо-западном краю острова. Отряд, посланный Сальцано, имел численность по всем со-

ображениям достаточную: действительно, Гарибальди явился перед Калата-Фимской позицией с количеством людей меньшим этого отряда. Притом же Сальцано, если б и хотел, не мог бы послать больше: главные свои силы он справедливо рассудил оставить в Палермо, потому что иначе жители столицы восстали бы. Ланца, как видно, напрасно осуждал своего предшественника. Точно так же теперь неаполитанское правительство напрасно винит Ланцу. Когда Калата-Фимская позиция была потеряна, он справедливо рассчитал, что должен ограничиться защитой высот, господствующих над Палермо, и действительно занял их. Подступ к Палермо остался возможен для Гарибальди только с восточной стороны, с которой, во-первых, было и неудобно защищать город, а во-вторых, нельзя было никакому генералу предвидеть такого быстрого нападения. Маневры, сделанные Гарибальди, были беспримерны по смелости и по быстроте. Того, кто не мог предупредить их, нельзя еще называть человеком нераспорядительным. Но если так, если неаполитанские генералы распоряжались недурно, если офицеры их исполняли свою обязанность, если у них было в двадцать раз больше солдат, чем сколько было у противника людей, годных к сражению, то в чем же причина их неимоверного поражения? Мы знаем теперь, что она заключалась в характере их войска, превосходно обученного, отлично вооруженного, но все-таки ставшего почти столь же неспособным к битвам, как неспособны были сицилийские инсургенты. Неаполитанские солдаты не годились ни на что, кроме грабежа и резни безоружных жителей. Убивать женщин, стариков, жечь села — этому выучились они, но это такая наука, которая отучает от способности сражаться. Многие винят неаполитанских генералов за то, что они допустили своих солдат до приобретения такой привычки — обвинение совершенно неосновательное, как мы доказали в обзрении, напечатанном два месяца тому назад. Это был единственный способ вести войну, возможный при данных отношениях. Если бы поддерживать дисциплину в неаполитанском войске, если бы не позволять солдатам грабить и резать, солдаты не стали бы служить: какое другое побуждение удержало бы их под знаменами? Французы, например, сражались в Италии для славы своей родины, сражались по убеждению, что они защищают хорошее дело. У солдат, которыми командовал Ланца, таких мыслей не было и не могло быть. Притом же цель всякой войны — нанесение вреда неприятелю. Если неприятель — армия, надобно бить эту армию. Но в Сицилии до прибытия Гарибальди неприятельской армии никакой не было против неаполитанцев, а война шла больше месяца; неприятелем был каждый сицилиец, потому надобно было истреблять сицилийцев. Военное искусство требует уничтожения неприятельских военных средств; потому надобно было жечь все, что можно, грабить все, что попадалось под руку. Таким образом, неаполи-

танцы принуждены были своим положением принять систему действий, которая сделала их войско толпою мародеров, а мародеры, в каком бы числе ни были, всегда бегут от самого слабого неприятеля.

Впрочем, как бы то ни было, все равно: они принуждены были заключить капитуляцию. Возвращение в Неаполь 20-тысячного войска, пораженного неприятелем в двадцать раз слабейшим, должно очень вредно подействовать и на всю остальную неаполитанскую армию: эти люди по необходимости вносят в нее свое уныние, свое убеждение в невозможности держаться против Гарибальди. В прошедший раз мы были обмануты телеграфическими депешами, говорившими, что Гарибальди уже переправил часть своих волонтеров в Калабрию. Это преждевременное известие, распространившееся по Европе из Неаполя, было произведено торопливым отправлением трех колонн в Калабрию, где со дня на день ждали неаполитанцы появления неприятеля. Но Гарибальди считает нужным привести в порядок сицилийские дела и организовать порядочную армию из сицилийцев, прежде чем двинется на материк. По всем известиям, сицилийцы, отученные долговременным господством прежней системы от всякого участия в государственных делах, еще не умели бы сами справиться с ними без Гарибальди. Они не умели бы сами себе устроить администрацию, не умели бы позаботиться как следует о сформировании войск. Во всем этом для них еще нужны чужие советы, чужое руководство. Дивиться тут нечему: без некоторой привычки к делу никто ничего не может делать быстро и успешно. В приложении к этому обзору читатель найдет извлечение из палермской корреспонденции «Times'a», служащей продолжением тех писем, которые перевели мы в прошлый раз. В ней сообщаются подробные известия о ходе дел в Палермо до начала июля, и нам остается только дополнить это извлечение сведениями о событиях после тех дней, на которых оно останавливается. Но прежде скажем несколько слов о последствиях, какими отразились успехи Гарибальди в самом Неаполе.

Два месяца тому назад мы старались изобразить личный характер короля неаполитанского и тех влияний, которым он подчиняется. Благодаря своему воспитанию, он совершенно тверд в принципах, которыми руководился его родитель, и не имеет нравственной свободы принять иную систему действий. Отчасти по своей неопытности, а еще больше по характеру своего воспитания, он руководится советами сановников, управлявших государством при его отце, и справедливо полагает, что не должен иметь доверия к людям иного образа понятий. Таким образом, нравственная необходимость всегда должна удерживать его при прежней системе. Но, несмотря на такие факты, как бомбардирование Палермо и другие подобные распоряжения, рассказами о которых наполнены газеты, сам он лично должен иметь характер мяг-

кий. Полным доказательством тому могла бы служить уже одна роль, оставленная им его мачехе. Когда ждали смерти покойного короля<sup>1</sup>, его вторая супруга употребляла всевозможные усилия, чтобы отнять наследство у нынешнего короля, своего пасынка, и доставить престол своему сыну, графу Трани<sup>2</sup>. Кроме действий разными мирными путями, она даже устраивала заговор с этой целью, устраивала даже военные возмущения. Не говорим уже о том, что она подвергала своего больного мужа нравственной пытке и не допускала к его постели никого, кроме своих соумышленников, — не допускала ни своего пасынка, ни его жену. Чрезвычайно странное зрелище представлялось тогда борьбою двух полиций, общей полиции и жандармской, из которых одна была на стороне прямого наследника престола, а другая на стороне графа Трани и его матери. Полицейские начальники и жандармские начальники арестовывали друг друга, обвиняли друг друга в злоумышлениях. После всего этого надобно было ожидать, что молодой король не будет доверять мачехе, отнимавшей у него престол, не будет доверять придворным и министрам, действовавшим заодно с нею против него. Но они сохранили при нем все свое влияние или даже получили еще безграничнейшую силу, чем какую имели при его отце, — черта, свидетельствующая о мягкости личного характера в новом короле. Но мягкость характера, как он показывал в последнее время, не мешает ему очень твердо держаться принципов, издавна обеспечивавших спокойствие Неаполя. Печальная необходимость могла принудить его к временным уступкам; но все свидетельствует, что в душе он остался непоколебим.

Когда неаполитанский двор убедился, что ему грозит близкая опасность, он начал приискивать разные средства избежать ее. Прежде всего, как знает читатель, он хотел, чтобы иноземные державы защитили его от заговорщиков и бунтовщиков. Был отправлен чрезвычайный посланник в Париж и в Лондон просить помощи у французского и английского правительств. Но император французов принял просьбу сурово: он долго был лично оскорбляем покойным королем и нынешним королем; они оба с одинаковым упорством отвергали его советы изменить системе. Читатель помнит, что однажды французский и английский посланники, по согласию своих правительств действовавшие в этом смысле, получили от неаполитанского двора такие оскорбительные ответы, что дело было близко к войне. Это случилось при прежнем короле. Когда воцарился нынешний, советы Наполеона III возобновились и были отвергнуты так же высокомерно. Припомнив эти дела, император французов сказал теперь неаполитанскому посланнику, что удивляется, видя его в Париже, и никаких новых советов давать не намерен. Конечно, император французов так расчетлив, что воспоминания о прежних неудовольствиях не удержали бы его от вооруженного вмешательства



в пользу Неаполя, если бы он находил вмешательство выгодным; но в том и дело, что тогда показалось и до сих пор кажется ему неудобно посылать армию в Неаполь или Палермо. Причины тому мы увидим ниже. На английский кабинет с самого начала было еще гораздо меньше надежды, и пока посланник ехал в Париж, произошло в парламенте объяснение, прямо показавшее ему бесполезность поездки в Англию. На вопрос одного из членов палаты общин о том, какой политики думает держаться кабинет в неаполитанских делах, лорд Пальмерстон в самых суровых выражениях высказал впечатление, произведенное на Европу бомбардированием Палермо и вообще образом действий неаполитанских войск в Сицилии, и прибавил, что низвержение Бурбонов было бы, по его мнению, самую справедливую развязкою дела. Прочитав эти слова, неаполитанский посланник не рассудил ехать дальше Парижа. Что ж было делать? Император французов сказал, что за советами и защитой ближе было бы обратиться в Турин, чем в Париж или Лондон; неаполитанский двор повиновался указанию. Но сардинское правительство, не говоря уже о политических причинах, не допускающих его защищать неаполитанский двор, постоянно было оскорбляемо им. Вспомним, например, дело о захваченном неаполитанцами сардинском пароходе «Кальяри». Сардиния получала тогда самые обидные ответы на свое требование возвратить этот корабль, капитан которого нимало не был виноват в сообщничестве с маццинистами, под предлогом чего конфискован был «Кальяри». Когда неаполитанский кабинет был наконец принужден угрозами Англии возвратить неправильно удерживаемый корабль, он передал его англичанам, а не сардинцам, с самыми презрительными объяснениями о том, почему не хочет отдавать его прямо сардинцам. Еще недавно Франциск II спрашивал у папы, может ли он иметь какие бы то ни было сношения с правительством Виктора-Эммануэля, отлученного от церкви. А при самом своем вступлении на престол, получив от Виктора-Эммануэля письмо с очень благонамеренными советами, он оставил это письмо без ответа. Ненатурально было бы ожидать дружбы неаполитанскому королю от правительства, которому он наносил такие обиды. Разумеется, обиды можно бы загладить смирением, но читатель знает, что сардинское правительство рассчитывает соединить всю Италию под своею властью. Просьба была отвергнута и в Турине. Пришлось отклонять опасность собственными средствами. Начались министерские совещания в присутствии членов королевской фамилии и нескольких довереннейших лиц. Молодой король, пораженный неудачами своих войск, был болен. Он лежал в комнате соседней с тою, где происходил совет. Споры были, разумеется, очень жаркие. Большинство министров настаивало, чтобы продолжать прежнюю систему. Граф Трани, младший брат короля, обещанный в вице-короли сицилийцам, если они покорятся, так-

же восставал против всяких уступок. Сам Франциск II держался также этого мнения, насколько имеет личное мнение о делах. Но положение было так ясно, что сторона, требовавшая уступок, одержала верх в совете. Было решено, что надобно составить новое министерство. Королю доложили об этом. — «Хорошо, — сказал он, — я поручаю составление нового министерства синьору Трое». — Этим намерением доказывается совершенная невозможность винить Франциска II в действиях его правительства. Из всех прежних министров Троя был самый непопулярный человек: Неаполь считал его самым крайним реакционером, приписывал ему самые крутые меры. Но король, как видно из его слов, совершенно не знал этого. Ему казалось, что Троя самый надежный из его прежних министров, и он полагал, что общественное мнение так же высоко ценит качества этого правителя. Предполагать какую-нибудь неискренность в столь важную минуту невозможно. Франциск II, очевидно, думал, что общественное мнение будет очень довольно возведением Трои в звание первого министра. Но Троя отказался: он понимал, каким человеком считают его неаполитанцы. Тогда началось отыскивание людей, которые были бы либералами по мнению неаполитанского двора: он увидел, что нельзя обойтись без либералов. Сначала обращались к таким людям, которые даже сами не претендовали на имя либералов; они отказывались один за другим, объясняя, что надобно вручить власть людям не столь близким, как они, к прежней системе по образу мыслей. Наконец дошли до человека, считавшего себя либералом и поэтому думавшего, что его имя будет принято публикою благосклонно. Спинелли занимает по своим идеям середину между абсолютистами и конституционастами. Он стал приискивать товарищей и большую часть их взял из абсолютистов, не одобрявших прежней крайности. Все они, и сам Спинелли, не пользовались большой известностью не только за пределами Неаполя, но и в самом Неаполе. Когда был обнародован список нового министерства, неаполитанцы стали расспрашивать друг друга, не знает ли кто чего о новых правителях. Нашлись некоторые всезнающие люди и объяснили остальным, что новые министры известны им за людей добросовестных. Но никто не полагал, чтобы они имели силу устранить прежние влияния от управления делами; общее мнение было, что новое министерство не получит самостоятельности, послужит только орудием, посредством которого станут управлять прежние люди. Незначительность министров была первою причиною такого впечатления; другою, еще важнейшею, служил опыт 1848 года, когда либеральные министры были только до минования крайней нужды в них взяты для прикрытия продолжающегося господства прежней системы. Потому прокламация о перемене правительства была встречена неаполитанцами с совершенною холодностью. Напрасно на цитадели Сант-Эльмо прежнее знамя бурбонской династии



было заменено трехцветным национальным знаменем. Напрасно министерство говорило в своей программе, что будет дана конституция, что Неаполь вступает в союз с Сардиниею и следует отныне национальной политике: город остался совершенно равнодушен, а тайный комитет, управляющий действиями либеральной партии, издал прокламацию, советовавшую неаполитанцам не верить искренности и прочности уступок, а ждать спасения только от Виктора-Эммануэля и Гарибальди. Надобно было принять административные меры, чтобы появились признаки довольства столицы уступками. На другой день стали ходить по городу переодетые полицейские чиновники и служители с криками: да здравствует король! да здравствует конституция! Толпы лаццарони, не имеющих никакого понятия о конституции, также были разосланы по городу с криками в честь ей и королю. Горожане стали отвечать им криками: да здравствует Виктор-Эммануэль, итальянское единство, Гарибальди! В некоторых местах началась перебранка, стеснились толпы, и от толчков дело дошло до палочных ударов. В одно из таких столплений попался французский посланник в Неаполе, Бренье, и какой-то лаццарони или переодетый полицейский ударил его по голове палкой, — случай очень неприятный для нового правительства, которое думает опираться на благосклонность Франции. Драки эти, не имевшие в себе ничего серьезного, повторились на следующий день (28 июня). И тут они не имели сами по себе никакой важности, но странным образом кончились сожжением двенадцати домов полицейского управления; несколько десятков или сотен людей, дравшихся с полицейскими и с лаццарони, не были так сильны, чтобы сжечь эти дома; потому дело стало объясняться иначе. Неаполитанцы думали, что полицейские комиссарства были сожжены по распоряжению самой полиции, желавшей уничтожить свои архивы и следы особенного устройства некоторых комнат, где производились пытки. Справедлива или нет такая догадка, мы, разумеется, не знаем. Драки на улицах производились только лаццарони, разделившимися на две партии: одна за Франциска II, другая за Гарибальди, а либеральная партия нимало не участвовала в них. По крайней мере, известно, что тайный комитет сильнейшим образом убеждал жителей столицы избегать всяких беспорядков, а инструкции комитета всегда с точностью исполнялись жителями Неаполя. Как бы то ни было, но уличные драки 28 июня, не имевшие никакой важности, были причиною объявления Неаполя находящимся в осадном положении. В следующие дни спокойствие не нарушалось, и осадное положение скоро было снято. Эта готовность отказаться от меры, вероятно не бывшей нужною и с самого начала, убедила неаполитанцев, что новые министры хотят действовать добросовестно, и приобрела им некоторую популярность в столице. Но доверие относится только лично к ним, к их намерениям, а не к их силам, не к проч-

ности новой системы. Всем в Неаполе известно, что двор не изменил своим принципам и терпит новых министров только до первой возможности избавиться от них. Известно также, что они и теперь довольно бессильны, что из десяти мер, предлагаемых ими, утверждается разве одна, да и то после очень тяжелых споров, очень неохотно и с разными изменениями, отнимающими у нее почти всю важность. Большая часть должностей остается занята людьми прежней системы не потому, чтобы министры не видели надобности сменить их, а потому, что двор не соглашается на перемену. Потому, считая новых министров людьми благонамеренными, столица сохраняет прежние свои мысли о надобности присоединиться к Пьемонту. Трудно думать, чтобы неаполитанский двор стал искренним приверженцем конституционной системы. По всей вероятности, скоро обнаружится невозможность держаться в нынешнем шатком положении: люди прежней системы должны будут или принять крайние меры для подавления либеральной партии, или против собственной воли удалиться из Неаполя. А между тем нынешнее положение дел таково: провозглашено восстановление конституции 1848 года; приказано составлять списки избирателей; 19 августа назначено произвести выборы, а 10 сентября положено собраться палате представителей. Не знаем, с какою деятельностью исполняется декрет о составлении списков избирателей; вероятно, этому делу не препятствуют, потому что оно, само по себе, еще не затрудняет возвращения к прежней системе. Но другое постановление того же декрета еще не приводится в исполнение: вместе с провозглашением конституции 1848 года было объявлено, что восстанавливается свобода печатного слова, гарантируемая Неаполю этою конституциею; с той поры до времени последних известий, какие мы имеем, прошло уже более двух недель, а неаполитанские газеты все еще не получили возможности пользоваться правом, которое должны получить [по] этому декрету. Надобно, впрочем, сказать, что свобода печатного слова совершенно не сообразна с порядком дел, еще продолжающим существовать в Неаполе, несмотря на декрет о восстановлении конституции и на учреждение нового министерства. Мы уже замечали, что действительная власть остается в руках прежних людей; первым делом свободной журналистики было бы представление бесчисленных обвинений против людей прежней системы, требование, чтобы эти лица были арестованы и преданы суду. Разумеется, они не могут допустить того, пока будут сохранять силу. Зато приведена в исполнение обещанная амнистия политическим изгнанникам и заключенным. В самом деле, неаполитанские агенты при иностранных дворах объявили, что изгнанники могут возвращаться на родину. В Турине и в Лондоне, где особенно много этих изгнанников, они собирались на совещание о том, воспользоваться ли этим разрешением. В обоих городах большинство собравшихся решило не

возвращаться, пока не будут даны более прочные гарантии в серьезности провозглашенного изменения системы. В Турине сильно поддерживал такое решение Поэрио, человек, очень умеренного образа мыслей. Но довольно многие объявили, что последуют приглашению новых министров; впрочем, они объяснили своим товарищам по изгнанию, что едут поддерживать общественное мнение в недоверчивости к намерениям двора. Между тем люди старой системы оправляются и мечтают не только об отменении конституции, но и об отмищении Франциску II за временные уступки, им сделанные. Возобновились планы провозгласить вместо него королем брата его, графа Трани, мать которого, вдовствующая королева, мачеха Франциска II, предводительствует партией, отвергающею всякие уступки. Интриги ее в пользу сына против пасынка были так опасны, что Франциск II по предложению новых министров согласился удалить ее с некоторыми из ее приверженцев в Гаэту. Она требует, чтобы ее отпустили в Вену, где она хочет склонять Австрию к вооруженному вмешательству. Но и находясь в Гаэте, она не падает духом. 15 июля часть гвардии, возбужденная приверженцами ее, пошла по улицам Неаполя, провозглашая королем графа Трани. Восстание было легко подавлено; но вдовствующая королева продолжает склонять войска к новым попыткам в пользу ее сына, именем которого она стала бы управлять с безграничной властью. Между тем идет в войске пропаганда и с другой стороны: тайный комитет и многочисленные приверженцы Виктора-Эммануэля и Гарибальди действуют так же неутомимо и, говорят, не без успеха. Сами лаццарони, служившие прежде неизменною опорой Бурбонов, подвергаются влиянию гарибальдиевской пропаганды. Теперь они, подобно солдатам, разделены на три партии: одна хочет защищать Франциска II и низвергнуть стесняющую его конституцию; другая вместе с конституциею хочет низвергнуть и его, чтобы провозгласить королем графа Трани; третья, наконец, сочувствует Гарибальди, и эта последняя партия довольно быстро усиливается.

Если бы общественное мнение имело прочную самостоятельность, разумеется, легко было бы предсказывать развязку неаполитанских дел. Затруднением служит то, что не только в Неаполе, где оно так неопытно, но и в передовых странах Западной Европы, даже в самой Англии, оно часто оказывается шатким, увлекающимся. Теперь пока неаполитанцы остаются при своих прежних мыслях. Но как ни продолжительны были факты, породившие такое настроение мыслей, очень небольшого желания со стороны двора достаточно, чтобы очень быстро изменить расположение публики. Если бы новому министерству удалось действительно получить власть над делами, если бы король искренно предался своим новым советникам, совершенно отстранив прежних, то, по всей вероятности, неаполитанцы скоро воодушевились

бы горячею любовью к нему, забыли бы о присоединении к Пьемонту, пожалуй, были бы готовы ехать завоевывать Сицилию, как поехали в 1848 году. Предоставляем каждому судить, вероятен ли такой оборот дела. Но пока положение остается неопределенным, очень многое зависит от отношений нынешнего неаполитанского правительства к правительствам других держав, в особенности к Франции и к Сардинии. Английский кабинет решительно расположен в пользу Гарибальди и желает, чтобы Неаполь вместе с Римом соединился в одну державу с Северной Италией. Но положительно известно, что английские министры не хотят начинать вооруженного вмешательства в итальянские дела, потому их расположение или нерасположение не слишком ободряет одних, не слишком пугает других в Палермо и в Неаполе. Франция — иное дело. Все полагают, что Наполеон III не затруднится послать войска и флоты туда, куда потребует его расчет. Притом же Австрия и теперь, как полгода тому назад, ждет только его разрешения, чтобы начать вооруженные действия в Италии. Таким образом, очень значительная часть надежд и опасений основывается на догадках о намерениях императора французов. Многим казалось странным, что он не послал войско в Сицилию, как только узнал об экспедиции Гарибальди, которую решительно не одобрял. Но тогда же было видно, что препятствием тут служил не недостаток доброй воли с его стороны, а только нежелание преждевременного разрыва с Англией: по всему было видно, что шли очень горячие объяснения о сицилийском вопросе между Парижем и Лондоном. Теперь это положительно подтверждено словами лорда Росселя в палате общин, что английский кабинет «имеет положительные основания к уверенности, что со стороны Франции не будет вооруженного вмешательства в сицилийские и неаполитанские дела». Ясно, что Франция хотела вмешательства, Англия не хотела, и Франция нашла удобнейшим уступить ее желанию. Вот по этому-то обстоятельству Франция до сих пор ограничивалась и до каких-нибудь новых перемен в общем состоянии европейской политики будет ограничиваться одним дипломатическим влиянием в Неаполе и в Турине. Французское правительство само высказало свою программу по итальянскому вопросу: оно остается верно той идее Виллафранкского договора, что Италия не должна быть одним государством, а следует ей сделаться союзом нескольких государств, под преобладающим влиянием Франции. События конца прошлого года и начала нынешнего не благоприятствовали осуществлению такой мысли, но теперь, по словам французского правительства, обстоятельства благоприятствуют ей: неаполитанский король согласился на союз с Пьемонтом; папа должен будет последовать его примеру или отказаться от всех своих владений, кроме города Рима, и вот итальянская конфедерация, провозглашенная в Вилла-Франке, уже готова. Австрия согласна на нее,

остаётся только заставить Сардинию отказаться от дальнейших честолюбивых замыслов. При первом удобном случае будет употреблена военная сила на осуществление этой программы, а теперь пока, по неблагоприятности обстоятельств, употребляется только дипломатическое влияние. Французский посланник в Неаполе, Бренье, служит главной опорой новой системы, водворение которой необходимо, чтобы не дать Неаполю соединиться с Пьемонтом. Говорят, что у парижских дипломатов есть и другие мысли, кроме поддержки Бурбонов; говорят, что Неаполь наполнен агентами мюратистов, думающих воспользоваться обстоятельствами, чтобы возвести на неаполитанский престол своего претендента. Говорят, что в этом случае Рим хотят предоставить принцу Наполеону, которому прежде предназначалась Тоскана; хотят, чтобы Италия разделялась на четыре государства: Венеция под властью австрийцев, Сардиния под властью национальной династии, Рим и Неаполь под властью принцев императорской французской династии. В существовании таких желаний незачем сомневаться; исполнятся ли они, — это зависит от общего положения европейских дел: если не произойдет решительной перемены в отношениях Франции с Англией, если не будет войны, то желания останутся просто желаниями. До сих пор Франция не говорит о Мюрате<sup>3</sup>, а напротив, поддерживает Франциска II. Соппротивление неаполитанского двора установлению нового порядка делает эту задачу очень затруднительной; но ещё тяжелее французской дипломатике вести дело в Турине. Три месяца тому назад, когда собирался Гарибальди в Сицилию, его предприятие казалось слишком отважным; вероятность успеха была бы придана ему только содействием туринского правительства, но граф Кавур не отважился рисковать: боясь гнева Франции, он даже всячески мешал отправлению экспедиции, насколько позволялось это народным энтузиазмом в пользу Гарибальди. Теперь дела не таковы. Само неаполитанское правительство уже признало Гарибальди не флибустьером, а главою сицилийского правительства. Император французов не решается пока ничего сделать против Гарибальди, который, напротив, по общему мнению, скоро овладеет всю южную половиною Италии. Этот неожиданный поворот счастья ободрил Кавура. Он стал так открыто высказывать свое сочувствие предприятию Гарибальди, что в Турине и Генуе очень многие поверили ему, будто бы он с самого начала помогал ему. Вот отрывок в этом тоне из туринской корреспонденции «Times'a»:

«Положение Сардинии чрезвычайно затруднительно. Ваш палермский корреспондент описывает мнение, господствующее в столице Сицилии; но, мне кажется, он несправедлив к туринскому правительству, утверждая, что «Сардиния не благоприятствовала экспедиции Гарибальди, а напротив, всеми силами старалась помешать ей». Разумеется, законное правительство не могло принимать открытого участия в экспедиции, которую все стали



бы называть пиратской, если б она не получила успеха. Но в Генуе и в Турине разве только сумасшедший мог сомневаться в том, что Гарибальди не мог бы отплыть, если б сардинское правительство не смотрело сквозь пальцы на его предприятие. Очень жаль, что Гарибальди не имел при себе офицера, который бы посмотрел, у каждого ли отправляющегося с ним есть ружье и запасены ли для ружей патроны. Но бесспорно было бы неблагодарным и невозможностью отправить более значительный отряд, человек тысяч двенадцать или пятнадцать, в это предприятие, казавшееся безнадежным и в дипломатическом отношении бывшее незаконным. Гарибальди должен был победить силою своего имени и помощью сицилийских инсургентов или погибнуть, потому что Сардиния не могла сделать для него больше, чем сделала, не вступая в явный разрыв с Неаполем, а начать войну с Неаполем не могла она, не устроив своих дел с Австриєю и Франциєю. Гарибальди отплыл, высадился, победил; тогда энтузиазм всей Европы к нему успокоил сардинское правительство, дал ему уверенность в бездействии опасных его соседей. Этим объясняется вторая экспедиция, отплывшая под начальством Медичи<sup>4</sup>, и третья экспедиция под начальством Козенца<sup>5</sup>. Быть может, эти экспедиции следовали одна за другою не так быстро и имели не такой обширный размер, как желали бы друзья Гарибальди; но сардинское правительство не могло в этом деле поступать свободно и было принуждено давать экспедициям характер частного предприятия. Люди, понимающие дело, рассудят сами, можно ли было несколькимистами тысяч, медленно собиравшимися по частным подпискам, покрыть издержки на покупку девяти или десяти пароходов, на снаряжение четырех или пяти тысяч человек с десятью тысячами ружей; а если это было произведено не средствами частных людей, то кто же доставил эти суммы? Сардинское правительство делало и делает столько, что Неаполь имел бы слишком достаточные причины к войне с ним. Но неаполитанское правительство лишило себя возможности поддерживать свои права, и, конечно, Сардиния поступила бы в интересе человечества, объявив теперь войну Франциску II. Франциск II не в состоянии защищаться, но может и в несколько дней подвергнуть неисчислимым бедствиям королевство, неизбежно ускользающее из-под его власти. Он посылает свои войска, столь верно описываемые нашим палермским корреспондентом, усиливая эти сборища, неспособные ни на что, кроме грабежа и убийства, и готовит междоусобную войну, которая возобновит все ужасы кровавых действий кардинала Руффо<sup>6</sup>. Я не разделяю мнения торопливых людей, обвиняющих Гарибальди за то, что он остается в Палермо и по прибытии к нему экспедиции Медичи; он должен организовать Сицилию, прежде чем начнет дальнейшие действия. Эта задача займет его на целый месяц. Сардиния может и, как здесь полагают, хочет сократить этот тяжелый период неизвестности. Она хочет нанести последний удар неаполитанскому правительству и не дать ему времени на бесполезное опустошение. Она хочет объявить войну, быстрый успех которой не подлежит сомнению. Таково решение вопроса, ожидаемое здесь всеми. Полагают, что граф Кавур получил полное согласие Франции и Англии. Пусть две пьемонтских дивизии пойдут из Римини через Папскую область в Аbruццо. Пусть несколько кораблей выйдут из Генуи с другим отрядом. Сражений не будет; борьба кончится в три дня».

Это отголосок патриотических рассуждений публики, слишком готовой верить тому, что приятно для нее. Самому Гарибальди и его главным сподвижникам, мнения которых передаются палермским корреспондентом «Times'a», лучше всех известно, помогало ли туринское правительство их отъезду в Сицилию, или хотя смотрело ли оно сквозь пальцы на их сборы. Если дело было так, как уверяет туринский корреспондент, Гарибальди не



стал бы говорить противное. Он, может быть, молчал бы, если это нужно по дипломатическим соображениям, но не стал бы лгать и клеветать на Кавура, виня его в недоброжелательстве. Притом же вспомним факты. Генуэзскому губернатору было приказано употребить военную силу, чтобы задержать отправление экспедиции. Только убеждение, что от этого произошло бы народное восстание, не допустило губернатора вывести сардинские войска против волонтеров, собиравшихся итти из Генуи и соседних деревень на пристань. Но они все-таки могли пробраться на пристань только ночью, только небольшими группами, — иначе полиция задержала бы их. Береговые батареи хотели стрелять по кораблям, на которых отправлялись волонтеры, и не стреляли потому лишь, что корабли находились вне выстрелов. Кавур запретил комитету национального вооружения выдать на снаряжение экспедиции деньги, которые принадлежали самому Гарибальди. Какое наивное предположение, будто бы сам Гарибальди и его офицеры не заботились о том, есть ли ружья у их волонтеров, запасены ли патроны для ружей! Вероятно, они заботились об этом и, вероятно, не получали помощи от Кавура, если не имели даже какой-нибудь тысячи ружей. Также положительно известно, что отплытие второй экспедиции было затруднено и замедлено запрещением туринского правительства. Было время, когда полагали даже, что она совершенно расстроилась. Наконец легковерие публики поразительнее всего обнаруживается ожиданием, будто бы сардинское правительство хочет на-днях посылать войска через Папскую область на Неаполь. Может быть, когда-нибудь это и сделается, но в начале ожидать такого отважного решения на-днях просто было смешно. Все нынешние толки, будто бы Кавур до взятия Палермо не мешал всячески действиям Гарибальди, опровергаются словами самого Гарибальди и фактами.

Но теперь действительно уже не то. Помогать победителям — на это нужна не бог знает какая смелость. Теперь Кавур не мешает отправляться новым волонтерам в Сицилию, быть может даже снабжает их оружием и деньгами. Говорят, что он даже велел сардинским военным кораблям провожать экспедицию Козенца, пока она плыла по нейтральному морю, чтобы неаполитанцы не могли напасть на нее в таких водах, на которых не имеют права задерживать суда. Поводом к этому было взятие двух пароходов, принадлежавших к экспедиции Медичи и захваченных неаполитанцами на нейтральных водах. Палермо в это время был уже взят, бессилие неаполитанского правительства бороться с Гарибальди уже вполне обнаружилось, и Кавур действовал тут очень грозно. Читатель знает, что неаполитанцы захватили два судна: небольшой пароход под сардинским флагом и буксируемый им парусный корабль под северо-американским флагом. Говорят, что неаполитанский военный пароход поймал

их с помощью обмана, подняв на своей мачте сардинский флаг; говорят также, что хитрость не ограничилась этим, что неаполитанский капитан подал фальшивые сигналы, убедившие волонтеров свернуть с дороги, итти к нему навстречу, наконец плыть за ним некоторое время, как за союзником. Но главная важность в том, что корабли были захвачены далеко от неаполитанских и сицилийских берегов, на открытом, свободном море, где неаполитанцы по морскому праву не могли задерживать судов, и в том, что захваченные корабли имели правильно засвидетельствованные бумаги для проезда на Мальту, так что не существовало никаких юридических доказательств их намерения высадить волонтеров в Сицилии. Словом сказать, неаполитанцы несколько погорячились и сделали ошибку, не дав кораблям подойти к самому сицилийскому берегу, чтобы уже там, а не раньше, захватить их. Все это, может быть, и прошло бы даром, если б они имели дело с одной Сардинией; но беда заключалась в том, что буксируемое пароходом парусное судно имело северо-американский флаг и бумаги, в правильном порядке свидетельствовавшие, что оно принадлежит северо-американскому гражданину. Американцы в подобных вещах очень суровы. Американский резидент в Неаполе, Чентлер, призвал к Неаполю американский военный пароход «Ирокезец», находившийся у сицилийских берегов, и объявил, что республика немедленно примет военные меры для наказания неаполитанцев за оскорбление ее флага. Имея такого крутого товарища по претензии, Кавур тоже осмелился заговорить строго. Сардинский посланник в Неаполе, Вилламарина, начал действовать по согласию с американским. Вот из «Times'a» подробности о том, как они устроили это дело:

«Вилламарина имел свидание с синьором Карафою (неаполитанским министром), протестовал против взятия «Utile», сказал, что это может произвести разрыв мирных отношений и что он сам отправится в Гаэту для получения сведений от капитана «Utile», если этого капитана не привезут в Неаполь. Встревоженный Карафа отвечал, что должен просить разрешения у короля. В тот же день он сообщил маркизу Вилламарино, что завтра капитан будет привезен в Неаполь. Вместе с этим мистер Чентлер был уведомлен, что нет ему надобности уезжать из Неаполя, потому что капитаны обоих взятых судов завтра будут в этом городе. В воскресенье утром, 17 июня, мистер Чентлер виделся с Карафою и сказал ему, что если парусное судно не американское, то ему нет никакого дела до этого случая; но что если взятое судно окажется американским, то неаполитанское правительство подвергнется ответственности. Через несколько часов были привезены капитаны. Маркиз Вилламарина требовал, чтобы он и северо-американский консул были допущены говорить с ними без свидетелей; Карафа сначала не соглашался на это, потом уступил».

Объяснившись с капитанами захваченных кораблей, убедившись, что бумаги их были в надлежащем порядке, резиденты потребовали освобождения кораблей со всеми людьми, бывшими на них. При несчастном положении своих дел неаполитанское

правительство должно было уступить; корабли и волонтеры были освобождены, и волонтеры через несколько времени приехали к Гарибальди.

С того времени Кавур начал говорить с неаполитанцами очень решительно. Когда, например, неаполитанский посланник в Турине жаловался, что Сардиния перестала мешать отправлению волонтеров в Сицилию, Кавур прямо отвечал ему: «Австрия не мешает своим подданным отправляться на помощь вам. После этого я лишен всякой возможности удерживать итальянцев от содействия Гарибальди. Будьте довольны уже и тем, что я прямо не переодеваю сардинских солдат в красные куртки гарибальдиевских волонтеров, как австрийское правительство переодевает своих солдат в ваши мундиры».

Но перемена расположения в Кавуре едва ли выгодна для Гарибальди и сицилийско-неаполитанского дела. Пока Кавур препятствовал отправлению волонтеров, Гарибальди по крайней мере не был ничем стеснен в своих действиях. Он имел мало средств, зато распоряжался этими средствами, как хотел, и направлял дело, как ему самому казалось полезнейшим. Теперь не то: Кавур вступил в сношения с Гарибальди и требует, чтобы он руководился не собственными решительными идеями, а дипломатическими расчетами, следовать которым надобно по мнению Кавура.

Гарибальди считает возможным теперь же стремиться к изгнанию Бурбонов из Неаполя, папы из Рима. Он думает, что итальянцы должны сами устраивать свои дела, как хотят, что они имеют довольно силы не слушать угроз иностранных дипломатов и не нуждаются ни в чьей помощи. Кавур думает иначе. Он все еще не привык к новым обстоятельствам, все еще кажется ему, будто Италия бессильна без помощи Франции, будто гнев императора французов может восстановить в ней прежний порядок дел. Император французов желает, чтобы Неаполь остался отдельным королевством; Кавур не осмеливается противоречить этому желанию. Отпадение Сицилии от Неаполя факт уже совершившийся; дипломаты очень легко соглашались на признание совершившихся фактов, они противятся только тем переменам, защитники которых кажутся бессильными произвести или поддержать то, чего хотят. Кавур думает и, быть может, имеет положительные уверения, что император французов согласится на присоединение Сицилии к Пьемонту. Говорят, будто бы это дело уже устроено: за дозволение Пьемонту приобрести Сицилию Франция вознаграждается уступкою Генуи с лигурийским берегом. Правда это или нет, но Кавур, как видно, уверен в согласии императора французов на присоединение Сицилии к владениям Виктора-Эммануэля. Потому он требует, чтобы Гарибальди немедленно произвел это присоединение. Большинство сицилийцев очень легко склонилось в этом вопросе на убеждения агентов Кавура. Очень понятно, что народ, так долго остававшийся

под неаполитанскую систему, столько раз видевший себя возвращаемым под ее власть после кратковременных успехов в борьбе с нею, так отвыкший надеяться на свои силы, с доверчивостью стал слушать людей, советовавших ему поскорее сделать безвозвратный шаг, которым уничтожилась бы всякая возможность возвратить его под власть Франциска II, которым было бы обеспечено ему покровительство Сардинии. Но провозгласить присоединение к Пьемонту значит подчиниться дипломатическим расчетам Кавура. Гарибальди из независимого предводителя независимых волонтеров стал бы опять генералом сардинской армии, обязанным на все просить разрешения у Кавура, который первой надобностью своей почел был удержать его от дальнейших предприятий. Нельзя предвидеть, какие перемены могут произойти в общих отношениях европейской политики; быть может, через несколько времени, быть может, даже очень скоро Кавур найдет удобным начать войну с папою и неаполитанским двором. Но теперь он еще боится этого, и присоединить Сицилию к королевству Виктора-Эммануэля теперь значило бы отказаться от перенесения войны в южную половину Италии. Военные действия заменились бы переговорами. Гарибальди был бы остановлен на половине пути, а он не хочет останавливаться, пока не пройдет через Неаполь в Рим. Он хочет, чтобы сицилийцы признали власть туринского правительства только уже вместе со всею Южною Италиєю, чтобы Виктор-Эммануэль был провозглашен не королем Верхней Италии и Сицилии, а королем всей Италии, чтобы депутация отправилась известить его об этом не из Палермо, а из Рима; потому он сначала очень решительно отверг просьбу палермцев и требования Кавура провозгласить присоединение теперь же. Но потом он поколебался. Были уже известия, что он издает декрет о всеобщей подаче голосов или об избрании представителей для решения судьбы Сицилии. Пока эти известия, повидимому, неверны; но они указывают на то, в какое затруднение был поставлен Гарибальди нетерпением сицилийцев и настойчивыми действиями агентов Кавура \*.

\* Различие соображений, которыми руководились сицилийцы, по совету Кавура требовавшие немедленного соединения Сицилии с Пьемонтом, и люди, желающие отсрочить его до окончания дела, очень хорошо выражается письмом Пизани, объясняющего Гарибальди причину, по которой он отказался от звания министра временного правительства Сицилии. Вот что писал он к Гарибальди:

«Генерал! Я глубоко скорблю о том, что в минуту, столь решительную для Сицилии, должен был покинуть вас, человека, на мужестве которого каждый из нас основывает все свои надежды на спасение; но ваш ответ городскому палермскому совету, который, думая предупредить ваши собственные желания, представил вам, быть может несвоевременно, адрес, отвергнутый вами, возлагает на меня обязанность отказаться от звания, которое было притом и слишком тяжело для моих сил.

Я имел честь устно изложить вам причины, склоняющие меня к этому отказу, и вы удостоили любезно выслушать их, хотя они до некоторой

Как три месяца тому назад, Кавур думал, что нужно совершенно упрочить за собою освободившиеся области, прежде чем думать об освобождении новых, так теперь он думает, что прежде чем пытаться идти в Неаполь и Рим, надобно упрочить соединение Сицилии с Пьемонтом. Гарибальди полагает, что опаснее всего медленность, что надобно пользоваться временем, пока противники итальянского единства или еще не оправились от поражений, или еще не отваживаются на разрыв с Англиею, которая несогласна на вооруженное вмешательство Франции в итальянские дела; он думает, что эти благоприятные обстоятельства не будут продолжительны и что надобно покончить до их изменения дело итальянского единства, чтобы Италия могла, вся соединившись, уже не бояться никаких врагов.

Главным агентом Кавура в Сицилии был Ла-Фарина<sup>7</sup>; очень быстро он успел приобрести влияние на неопытных палермцев и через несколько дней по своем приезде устроил манифестацию, требовавшую отставки прежних министров Гарибальди, особенно Криспи<sup>8</sup>. Ла-Фарина действовал на палермцев обвинениями Криспи и других министров за то, что они сменяют слишком много чиновников, служивших неаполитанскому правительству, что они слишком суровы к этим почтенным людям, имеющим в Палермо и родство и знакомство. Но истинною причиною действовать против Криспи было для Ла-Фарины, разумеется, не это: Криспи противился немедленному присоединению Сицилии к Пьемонту, целью Ла-Фарины было сделать министрами людей,

степени противоположны вашей воле, выраженной вами с военным прямодушием. Итак, я не имею нужды повторять их здесь.

Я только желал бы сказать каждому из моих сограждан и убедить каждого из них, что разность мнений не отделила меня от вас; что оба мы смотрим на вещи одинаково, стремимся к одной цели — к освобождению всей Италии — и что мы расходимся единственно в выборе дороги к этой цели, — разница, которую легко можно объяснить разницею моей и вашей натуры. При высоте вашей души, при величии вашего сердца, вы, презирая трудность пути, хотите прямо стремиться к вашей возвышенной цели; я, в сознании своей слабости, опасаясь препятствий, думаю, что надобно идти медленным шагом, довершить то, что так хорошо начато, и уже потом переходить к другим предприятиям, — то есть надобно увеличивать итальянское королевство постепенно, присоединяя к нему области, успевшие свергнуть иго и возвратит себе независимость, и, увеличив таким образом свои силы, ждать случая, чтобы оказать фактическую помощь областям, еще носящим иго суровой неволи.

После этого объяснения мне остается только горячо просить вас позаботиться о нашей милой Сицилии, столь измученной. Заклинаю вас, обещайте ее судьбу, не оставьте ее на добычу партиям, которые могут возникнуть, тайным хитростям или явному насилию ненавистных Бурбонов; подумайте о том, что если несвоевременно перенесете вы в Неаполитанское королевство ужас вашего имени и вашей храброй армии, то, быть может, это обратится в выгоду людям, неуважаемым вами, что они ловко воспользуются вашим делом, за которое, однакоже, не поблагодарят вас. Пусть Сицилия будет вашим отечеством; полюбите, как вы уместе любите, эту усыновляющую нас мать, достойную столь славного сына».

разделявших мнение Кавура. Гарибальди после некоторого сопротивления уступил, и начались слухи, что присоединение скоро будет провозглашено. Но, ободрившись первым успехом, Ла-Фарина зашел уже слишком далеко в своих интригах. Странно, до чего может простираться вражда людей, имеющих слишком высокое мнение о себе, к людям, не разделяющим их мыслей. Кавур уже несколько раз отнимал у Гарибальди возможность действовать в пользу итальянского дела в прошлом году: не дал ему обещанных пособий во время ломбардского похода<sup>9</sup>, лишил его возможности организовать армию Средней Италии в периоде между Виллафранкским и цюрихским договорами<sup>10</sup>, принудил наконец вовсе отказаться от участия в делах. О препятствиях, которые ставил он отправлению Гарибальди в Сицилию, мы уже говорили. Теперь, когда Гарибальди освободил Сицилию, Кавур стал показывать вид, что сделался другом ему, и многих уверил в этом — а между тем, через Ла-Фарину, старался восстановить против него сицилийцев. Дело шло уже к тому, чтобы заставить Гарибальди удалиться из Сицилии. Человек очень терпеливый и мягкий в делах, касающихся лично до него, Гарибальди, однакоже, вышел наконец из терпения, потому что вопрос касается не одной его личности, которой он всегда готов жертвовать, а итальянского дела, судьбы Неаполя, Рима и Венеции. Ла-Фарина и Кавур слишком уже понадеялись на его простодушие, которое для таких оборотливых людей должно казаться глупостью: они воображали, что Гарибальди не понимает их интриг, между тем как он только терпел их; они мешали организации порядочного управления в Сицилии своими происками, восстанавливали сицилийцев друг против друга, — Гарибальди увидел, что пора положить конец этому, или сицилийское дело погибнет. Он пригласил к себе Ла-Фарину, сказал, что вышлет его вон из Сицилии, и через несколько часов агент Кавура был отправлен в Турин с двумя своими помощниками, людьми, служба которых была уже совершенно неблагоприятна. По приезде в Турин Ла-Фарина имел совещание с Кавуром, который и без того был уже чрезвычайно раздражен известием об отсылке своего агента. В первые минуты туринский министр хотел принять против Гарибальди какие-то решительные меры, — в чем они могли бы состоять, мы не умеем сообразить, — разве в том, чтобы издать прокламацию, приглашающую сицилийцев к низвержению Гарибальди, послать какого-нибудь сардинского генерала на его место и дать этому генералу инструкцию об арестовании Гарибальди, — но ведь это было бы уже чересчур, — однако мы не поручимся за то, чтобы Кавур не хотел поступить именно так. Впрочем, какие бы мысли ни были у него, он тотчас же принужден был отказаться от них. Волнение в Турине и во всей Северной Италии было очень сильно и вовсе не в пользу противников Гарибальди. Слух, что Кавур враждует против Гарибальди,



произвел такое впечатление, что министерству Кавура грозило падение. Туринский министр увидел необходимость смириться, и теперь едет в Палермо де-Претис<sup>11</sup>, друг Гарибальди, извинить перед ним Кавура. Гарибальди давно просил де-Претиса приехать в Палермо, помогать ему по устройству гражданского управления. Кавур не соглашался, потому что де-Претис всегда был противником его политики; теперь он принужден просить того же самого де-Претиса быть посредником между ним и Гарибальди. Сицилийский диктатор человек незлопамятный, и если Кавур действительно откажется от намерения стеснять его, в примирении нельзя сомневаться. Но посмотрим, надолго ли удержится при нынешнем благоразумном решении Кавур, воображающий, что он в Италии единственный человек, способный вести дела, и что все другие патриоты, а в особенности Гарибальди, — фантазеры и чуть ли не идиоты, блуждающие во мраке. Мы вовсе не хотим отрицать заслуг, оказанных Кавуром итальянскому развитию: в его патриотизме никто не сомневается, нельзя не отдать справедливости и ловкости, с какою он сделал очень многое для своей родины. Мы только говорим, что чрезмерно высокое его мнение о своих талантах слишком часто бывало причиною, что он мешал другим, шедшим к той же цели путем более прямым и, по всей вероятности, более верным, — теперь общее мнение видит, что в спорах между ним и Гарибальди верность расчета была не на стороне Кавура. Нам кажется, что то же должно сказать и о всей вражде его к тем патриотам, главным представителем которых служит теперь Гарибальди и ораторами которых в туринском парламенте были Валерио и де-Претис.

Итак, в те дни, когда мы пишем эту статью, т. е. около 14(26) июля, положение итальянских дел было следующее: '

Гарибальди занимался в Палермо организованном сицилийской армии, которое шло довольно успешно; у него было от 7 до 8 тысяч человек итальянских волонтеров, т. е. превосходнейшего войска; оно служило кадрами для формирования армии из сицилийцев, из которых около 10(22) июля набралось уже от 10 до 15 тысяч солдат; эти рекруты еще очень плохи; главный недостаток их не в том, что они мало обучены, — это дело устраивается в несколько недель при нынешних упрощенных требованиях, — а в том, что сицилийцы давно отучились от энергии, от надежды на свои силы. Население, упавшее духом, не скоро может быть воодушевлено так, чтобы дать из своей среды хорошее войско: для этого нужно несколько месяцев походной жизни с частыми стычками, в которых успех довольно часто был бы приобретаем не помощью союзников или руководителей, а силами самих новобранцев. Чтобы достать сицилийцам эту практику, Гарибальди послал их к Мессине; но все-таки надежда его на успех в дальнейших действиях основывается не на сицилий-

ском войске, а на итальянских волонтерах, на деморализации неаполитанской армии и больше всего на сочувствии неаполитанского населения. Туринское правительство желает ограничиться пока освобождением одной Сицилии; но Гарибальди остается при намерении идти на Неаполь, где двор сделал уступки, но до сих пор не успел доказать своей искренности в этом случае. По примеру неаполитанского двора, даже папа обещал некоторые реформы, — они, конечно, должны остаться или неисполненными, или исполненными только на бумаге. Надежду на свое спасение неаполитанский двор видит в милости императора французов, который требует, чтобы Кавур вступил в союз с новым неаполитанским правительством. Были разные слухи об условиях, на которых сардинский министр принимает предлагаемый союз. Вообще говорится, что эти условия нарочно составлены такие, на которые ни за что не согласится неаполитанский двор; рассказывают, например, будто Кавур требует, чтобы неаполитанский король вместе с Виктором-Эммануэлем предложил австрийцам денежное вознаграждение за уступку Венеции, а если они не согласятся, то немедленно объявил им войну. Может быть, Кавур и говорил что-нибудь подобное полуофициальным образом, но формальных переговоров о союзе еще не начиналось в те дни, о которых мы имели известия, когда писали эту статью: неаполитанское правительство только еще собиралось отправить в Турин чрезвычайного посланника с предложением союза, который по объявлению нового министерства будет служить основанием неаполитанской политики. Достоверно известно одно: Кавур не хочет принимать союза с Неаполем, потому что такая дружба убила бы всякое доверие к нему в Италии. Он еще не решается посылать войска против Неаполя, но понимает, что безвозвратно компрометировал бы себя и самого Виктора-Эммануэля союзом с Бурбонами; извинением такому союзу могла бы служить разве столь же грозная необходимость, как та, по которой была уступлена Савойя. Пока этой угрозы еще нет, и союз с Неаполем отвергается в Турине. Теперь известно, каков будет формальный предлог для отказа: газеты, служащие органами Кавура, говорят, что при существовании конституционного устройства политическая система зависит от мнений большинства палаты представителей, которая поддерживает или сменяет министров и дает им свою программу. Пока в Неаполе не собралась палата депутатов, не выразила согласия на союз с Пьемонтом и не определила условий этого союза, всякие разговоры о нем были бы лишены оснований и совершенно напрасны. Таким образом, выигрывается два месяца, и Кавур рассчитывает, что в этот промежуток раскроется, завоюет ли Гарибальди Неаполь, или можно будет нынешнему неаполитанскому правительству удержаться помощью императора французов. Если станет брать верх Гарибальди, Кавур отвергнет союз, а если император французов решительно

запретит Кавуру думать о приобретении Неаполя и выразит намерение послать французское войско против Гарибальди, то Кавур уступит силе и примет союз с Неаполем.

Между тем начались военные действия против Мессины; в письмах сицилийского корреспондента «Times'a» мы имеем известия о том, как войска, посланные осаждать Мессину, дошли до Кальтанисетты, лежащей на половине пути между Палермо и Мессиною. О начале осады Мессины мы знаем еще только по телеграфическим известиям. По их кратким указаниям, военные сотрудники французских газет заключают, что неаполитанцы скоро должны будут покинуть и этот последний пункт, который оставался за ними на острове\*. В последние дни беспрестанно разносились слухи, что Гарибальди отправился с несколькими тысячами человек сделать высадку на материк.

Операционным базисом для действий на материке служит ему теперь Сицилия. Поэтому очень важно ему обеспечить себе беспрепятственные сообщения с нею, когда он высадится в Калабрии или около Неаполя. Пароходов для перевозки войск и военных снарядов у него, повидимому, уже довольно, но до сих пор все это были только купеческие суда, которые не могут держаться против неаполитанского флота. Господство на проливе и на всех прибрежных водах оставалось за неаполитанцами; экспедиции, переправлявшиеся из Северной Италии в Сицилию, достигали своего назначения только тем, что успевали избегать встречи с неаполитанскими кораблями. Этот шанс успеха слишком уменьшается, когда путем переправы станет небольшое пространство между Сицилиею и Неаполем или Калабриею: неаполитанские крейсера могут перегородить всю эту линию. Но Гарибальди рассчитывает скоро иметь и на море перевес над неаполитанцами: он ожидает, что неаполитанский флот перейдет на его сторону. Пример тому подан военным пароходным корветом «Veloce». Italianские патриоты полагают, что многие другие военные пароходы последуют за ним, тем больше, что Гарибальди, сам бывший моряком, имеет знаменитость между всеми итальянскими матросами, в том числе даже и между неаполитанскими.

Мы говорили, что неизвестность развязки неаполитанских дел происходит главным образом от шаткости общественного мнения, которое всегда и повсюду очень склонно забывать прежние факты и стремления, возникшие из них, лишь только является хотя слабый повод верить перемене мыслей в том кругу, который управляет делами. До сих пор большинство неаполитанцев еще желает присоединения к Пьемонту; но уже заметно, что довольно многие люди в Неаполе находят возможность верить искренности и прочности сделанных уступок и готовы удов-

---

\* Теперь получена донесения, говорящая, что неаполитанцы сдали Мессину.

летвориться данными обещаниями. Продержись нынешнее положение еще несколько месяцев, и, быть может, большинство образованных сословий проникнется преданностью к Франциску II.

Точно такая же шаткость общественного мнения видна в переменчивости чувств, с которыми образованное общество немецких провинций Австрии смотрело на ход дела о новом государственном совете. Когда обнародованы были правила, по которым он составляется и будет вести свои совещания, все в Вене решили, что не следует придавать этому нововведению ровно никакой важности, что общественные желания не могут быть удовлетворены ничем, кроме созвания представителей нации, избираемых самим населением империи. Незначительность уступки, делавшейся учреждением нового государственного совета, возбуждала такое неудовольствие, что через несколько дней почли нужным сделать обещание новых уступок, объявив, что государственный совет имеет значение не какого-нибудь окончательного учреждения, а только переходной меры к созванию действительных представителей населения: он созывается, говорилось в официальном объявлении, собственно только за тем, чтобы рассмотреть проекты провинциальных конституций, уже приготовленные на его обсуждение. Несмотря на это объявление, государственный совет оставался так непопулярен, что все назначенные в него члены, сколько-нибудь уважавшие общественное мнение, отказались от звания, дававшегося им. Но вот государственный совет собрался. Регламент, составленный министерством для порядка его совещания, был написан в таком духе, что обсуждение предлагаемых ему мер должно было ограничиваться одною формальностью, без всякой свободы вникать в них. Члены государственного совета выразили неудовольствие стеснительным регламентом и желание изменить его. Главная перемена состояла в том, что они потребовали свободы выбирать специальные комитеты для рассмотрения предлагаемых проектов не по такой форме, какая предписывалась регламентом, а по другой, допущавшей в эти комитеты членов с независимыми мнениями. Правительство согласилось. Публика тотчас же начала хвалить государственный совет, находить в нем удовлетворительные элементы оппозиции. Еще больше удовольствия доставил ей способ печатания протокола государственного совета. Ожидали, что протоколы будут чрезвычайно кратки, сухи и темны. Но, снисходя к желанию членов государственного совета зарекомендоваться перед публикой, правительство допустило печатать протоколы довольно подробные. Публикой овладела большая радость. Она возложила значительные надежды на государственный совет, от которого за несколько дней перед тем не хотела ждать ничего. Она забыла на время, как составилась государственный совет и каков образ мыслей в людях, ведущих оппозицию. Большинство

новых членов государственного совета принадлежит к феодальной партии, то есть к такой партии, сравнительно с которой нынешние австрийские министры — величайшие либералы. Предводитель этого оппозиционного большинства граф Клам-Мартиниц, человек, перед которым Меттерних был бы чуть не республиканцем<sup>12</sup>. Всем известно, что цель действий Клам-Мартиница просто лишь то, чтобы сделаться первым министром; всем известно, что, сделавшись министром, он повел бы дела к восстановлению средневековых учреждений, к возвращению Австрийской империи в такой вид, какой имела она до реформ Иосифа II<sup>13</sup>. Каждый знает это, но огромное большинство публики не хочет помнить ни о чем и восхищается смелостью оппозиции Клам-Мартиница. Он приобрел такую опору в общественном мнении, что носятся слухи, будто бы двор ведет с ним переговоры о составлении министерства из его партии под его председательством. Дело доходит до того, что даже иностранцы начинают писать о совещаниях австрийского государственного совета серьезным тоном, как будто что-нибудь может выйти из них. В последнее время особенного шума наделала сцена между венгерским магнатом Баркоци и министром юстиции Надашди (по фамилии тоже венгерцем) в заседании 21 июня. Дело шло о ведении кадастровых книг<sup>14</sup>. Баркоци сказал, что напрасно ведутся они на немецком языке в таких местностях, где большинство населения и землевладельцев не немцы, а венгры. Надашди самым положительным тоном уверял, будто кадастровые реестры везде пишутся на языке большинства местных жителей. Баркоци доказал, что это неправда, и на резкие слова министра отвечал столь же резкими выражениями. Он употреблял слова «ложь», «обман» и т. д. Нашлось множество людей, возликовавших от смелости венгерского магната, начавших толковать, что государственный совет побеждает министров, а сам проникнут превосходнейшими намерениями и обладает силою осуществить их. Не понимаем, как можно было сделать такого слона из самой маленькой мухи, жужжанье которой было услышано лишь благодаря владычествовавшему вокруг нее молчанию. Но мыльные пузыри этих пустых выводов были скоро разбиты статьею официальной венской газеты, «Donau-Zeitung», 27 июня. Приводим эту статью, прекрасно характеризующую действительные отношения государственного совета к министерству:

«Во всех заседаниях государственного совета, особенно в заседании 21 числа, ораторы касались предметов, не имевших связи с вопросом, подлежавшим совещанию. Мы вовсе не хотим сказать, что члены государственного совета не имели права делать это, но не можем не заметить, что во всех странах, имеющих конституционную форму правления, обращается строгое внимание на порядок в занятиях делами и то, чтобы не отступать от совещаний, состоящих на очереди. Нам кажется, что некоторые из членов преобразованного государственного совета оставили без внимания этот факт и в особенности забывают о нем те, которые находят

в себе более парламентских привычек, чем их товарищи. Мы понимаем, что члены государственного совета желают подвергнуть рассмотрению вопросы о принципах; мы признаем за ними право желать того. Вопросы о национальности, о языке, о будущих отношениях провинциальных представительных собраний к государственному совету, о бюрократической и политической централизации и о степени ее необходимости могут и должны быть обсуждены государственным советом. Мы не можем желать, чтобы столь важные предметы остались нерешенными или были отсрочены. Мы только хотим заметить, что государственный совет собрался 21 числа для выбора нового члена в кадастрационную комиссию, а не для совещания по вопросу о выгодах иметь кадастровые реестры. Комиссия может рассуждать об этом деле, сколько ей угодно, и государственный совет, получив доклад комиссии, также может рассуждать о нем. В парламентах постоянно соблюдается то правило, что представители народа должны предварительно объявлять о вопросах, какие они думают предложить или по каким думают потребовать объяснений у правительства. В заседаниях 8 и 21 чисел было сделано много вопросов и предложений, о которых не было дано предварительного уведомления правительству. Если министр отвечает на неожиданный вопрос, не имея под руками документов, на которые должен ссылаться, то его поспешность может иногда делаться очень предосудительною для государственных интересов. Мы уверены, что этих наших слов будет достаточно для убеждения членов государственного совета впредь удерживаться от рассуждения о предметах, о которых не было сделано ими должного предупреждения».

Резкость этого формального выговора государственному совету достаточно показывает, что министерство смотрит на него как на учреждение второстепенное, зависимое, обязанное слушаться и покоряться, а не предписывать. Но гораздо занимательнее этой стороны дела разные выражения, которыми определяется мнение кабинета о характере, полученном австрийским правительством через учреждение государственного совета. Мы видим, что министерство формально называет Австрию «страною, имеющею конституционную форму правления», и объявляет, что государственный совет должен делать одно или не делать другого не на каком-нибудь основании, а на том, что он «парламент»: как делается в парламентах, так должно делаться в государственном совете. Таким образом, австрийское правительство совершенно разделяет взгляд на дело, выраженный нами два месяца тому назад: учреждение государственного совета уже составляет введение конституционной формы правления в Австрии; переворот в этом отношении уже вполне произведен, конституционный принцип получил полное развитие, либералам не остается ничего желать, правительству не остается делать никаких уступок, потому что все уступки уже сделаны. Но австрийские газеты не разделяют нашего мнения: они находят, что Австрия еще не получила представительной формы правления, и довольно настойчиво говорят о ее надобности, или по крайней мере говорили до недавнего времени. В начале июля они зашли так далеко в этом неблагодарии, что редакторы их, наконец, были приглашены к Веберу, заведующему делами этого рода, и он объявил им следующие три распоряжения:



«1) Газеты отныне не должны рассматривать вопроса о размере прав государственного совета и не должны говорить о конституции.

2) Говоря о правах провинциальных представительных собраний, которые скоро будут учреждены, газеты никак не должны требовать для них законодательной власти. Правительство не имеет намерения делиться законодательною властью с провинциальными собраниями.

3) Газеты не должны никак подвергать сомнению необходимость безусловного единства империи, особенно говоря об отношениях между Венгрией с принадлежавшими прежде к ней землями и между центральным правительством».

В то же время были повторены государственному совету и всей публике те основания, на которых учрежден государственный совет, совершенно соответствующий в Австрии тому, что в Англии называется парламентом. Было снова объяснено официальным образом, что причиною учреждения нового государственного совета была необходимость приискать новые средства для покрытия дефицита, приискать, какие можно учредить новые налоги и какие из прежних налогов можно увеличить. Министерство говорило, что в этом деле, для которого собственно и создан новый государственный совет, то есть в приискании новых налогов и в возвышении прежних, правительство нимало не будет мешать деятельности государственного совета, а напротив, с готовностью примет все, что он придумает.

Мы остаемся при мнении, что новый государственный совет служит очень достаточною заменою парламента в глазах венского министерства и что в Австрии уже введена такая конституция, лучше которой ничто не может соответствовать потребностям австрийского правительства; но затруднительность положения состоит в том, что австрийское правительство может подвергнуться опасности извне или само увидеть пользу в наступательной войне. Если итальянцы не будут остановлены, под властью Виктора-Эммануэля скоро соединится весь полуостров за исключением Венеции, и в таком случае итальянцы непременно захотят изгнать австрийцев из Венеции. Потому мы находим совершенно правыми тех австрийских правителей, которые желают, чтобы Австрия объявила войну Виктору-Эммануэлю, не дожидаясь, пока он будет располагать силами вдвое большими, чем теперь. Если австрийское правительство хочет сохранить власть над Венециею (а кто же добровольно отказывается от власти?), эта политика будет единственною последовательною. Ее держится в Вене так называемая партия военных, товарищей Виндишгреца<sup>15</sup>, Гайнау и Гиулая<sup>16</sup>. Гражданские сановники, и в том числе почти все министры, находят, напротив, что при нынешнем состоянии умов почти во всех провинциях империи выводить войска на борьбу с внешним врагом неблагоприятно, по-

тому что присутствие войск повсюду охраняет порядок, устрашая внутренних врагов. Так, но что же делать? Вредно не начинать ее, опасно начать ее. Враги порядка, конституционисты, либералы и т. д., в Австрии рассчитывают, что это тяжелое положение поведет к дальнейшим уступкам и даже к учреждению действительно конституционного правления. Но будем надеяться, что все как-нибудь уладится. По справедливому мнению австрийских министров, главная важность в том, чтобы выиграть время. Оно действительно так: обстоятельства, неблагоприятные ныне, могут стать благоприятными через полгода, через год; да хотя б и не стали благоприятными, хотя бы в результате и кончилось дело тем, чего ждут враги нынешней австрийской системы, все-таки каждый выигранный день, месяц, год будет лишним день, месяц, год. «Ничто не вечно под луною», стало быть, умные люди должны хлопотать лишь о том, чтобы как можно дольше протянуть свое существование и существование выгодной для них обстановки. Так и делают австрийские правители; потому смешны люди, которые дивятся, что они не спешат делать то, чего не хотят.

К сожалению, есть важные обстоятельства, независимые от воли австрийского правительства. Если бы опасность грозила ему только от Сардинии и от недовольства подданных, оно, вероятно, чувствовало бы себя еще довольно крепким на ногах; но дело в том, что, кроме внутренних беспокойств и кроме внешней беды с юга, оно должно ждать неприятностей с запада. Дело это прямым образом относится не к Австрии, а к Германии, но Австрия лишилась бы ранга первостепенной державы, если б оно исполнилось.

Газеты уже давно говорят о планах императора французов доставить национальному самолюбию удовлетворение, гораздо большее того, какое было дано присоединением Савойи: уже года два постоянно носятся слухи, что он хочет расширить пределы Франции до Рейна<sup>17</sup>. Перед началом прошлой войны это опасение было чрезвычайно сильно в Германии. Действительно, полуофициальная французская публицистика развивает вопрос о рейнской границе совершенно по такой же системе, по какой готовяла Францию к присоединению Савойи. Мы говорили несколько месяцев тому назад, что в пограничных с рейнскими провинциями Пруссии департаментах существуют газеты, имеющие своею целью объяснить баварским и прусским подданным на левом берегу Рейна, как выгодно будет для них присоединиться к Франции. Полуофициальные парижские газеты рассуждают иногда на ту же тему, но гораздо чаще и подробнее излагают другие стороны дела, более важные для французской публики и для европейских дипломатов, чем желание самих областей, которые должны подвергнуться предсказываемому переходу под власть императора французов. Французской публике объяс-

няется, что главная масса немецких земель на левом берегу Рейна отдана в 1814 году Пруссии собственно для отнятия у французов прежних союзников из самих немецких князей и для унижения Франции; доказывается также, что французская восточная граница теперь очень слаба в стратегическом отношении, что неприятель слишком легко может вторгнуться теперь в сердце Франции, что только эта опасность иностранного вторжения принуждает Францию обременять себя содержанием многочисленной армии. Если же Рейнская провинция Пруссии будет присоединена к Франции вместе с баварскими и другими землями на левом берегу Рейна, Франция будет закрыта от нападения широкою рекою, будет безопасна, может распустить тогда половину своей армии и начнется в ней царство свободы, уничтожатся обременительные налоги, правительство будет иметь много денег на общепользные работы, на вспоможение земледелию и фабрикам; такие статьи пишутся собственно для французской публики. Главное содержание в них то, что Франция лишилась рейнской границы в 1814 году, когда погибла ее слава, и восстановить славу можно не иначе, как возвращением прежней границы. Статьи, имеющие в виду не столько французскую публику, сколько иностранных дипломатов, выставляют на первый план то, что Франция уменьшит свою армию и перестанет быть воинственной державой, как только получит рейнскую границу. В самом деле, зачем она стала бы тогда желать войны? Она уже будет иметь все, что ей нужно. Ни нация, ни правительство ее не желают ничего больше, как только уничтожить память своих поражений и обеспечить себя с востока восстановлением рейнской границы; дальше того не идут их желания, а без того Франция все будет оставаться и недовольна, и небезопасна. Успокоить Францию значит успокоить Европу. Итак, все европейские державы для собственной выгоды должны желать, чтобы Франция расширилась до Рейна.

Если бы такие рассуждения печатались в независимых газетах, они никого не занимали бы. Но сильная склонность полуофициальных газет развивать эту тему принимается многими за выражение правительственных намерений. Еще больше увеличивается это предположение появлением брошюр подобного содержания, напоминающих и внешнею формою и характером изложения те прежние брошюры об Италии, которые теперь уже признаны имевшими официальное происхождение. Не знаем, ограничивались ли газетными статьями и брошюрами указания на такой план, или он еще прямее обнаруживался какими-нибудь разговорами французских дипломатов с немецкими, или даже какими-нибудь письменными предложениями, но вот что говорил в палате общин член торийской партии Кинглек, специально занимающийся вопросами иностранной политики. Предварительно заметим, что он имеет очень обширные дипломатические

связи и часто сообщал парламенту первые сведения о тайных переговорах и дипломатических актах, существование которых подтверждалось через несколько времени ходом событий. Так, например, он первый заговорил о существовании акта, по которому Сардиния обещалась уступить Франции Савойю. Теперь, в заседании 12 июля, он сказал между прочим:

«Известно, что с 1857 года французское правительство предлагало прусскому взять некоторые из мелких немецких государств и отдать Франции рейнские провинции. Я полагаю, что с этою целью император французов ездил в Баден. Принц прусский не мог согласиться на это, потому что знал факт, о котором я теперь скажу. Палата отдаст мне ту справедливость, что в прежних случаях мои слова оказывались основательными, и потому, вероятно, будет расположена поверить факту, о котором я теперь скажу. Я утверждаю, что на втором свидании в Вилла-Франке император французов сказал Францу-Иосифу, что возвратит ему Ломбардию с тем условием, чтобы Австрия не мешала действиям, которые хочет он начать на Рейне. Я повторяю, что принц прусский знал этот факт... План императора французов был в том, чтобы возвратить императору австрийскому Ломбардию для приобретения его помощи в действиях против Германии... Вся Европа наполнена слухами о войне. Франция не имеет ни ссор, ни даже споров с Бельгиею и Пруссиею, с Мекленбургом и Сардиниею; но земли каждого из этих государств в опасности, по слухам, господствующим в Европе. По всей восточной границе Франции действуют агитаторы, старающиеся возбудить неудовольствие нынешними правительствами и подготавливающие умы народа к переходу под новую власть».

Как бы то ни было, справедливы ли слова Кинглена, что формальные предложения о расширении границ Франции до Рейна были уже сделаны до баденского свидания или до баденского свидания дело ограничивалось газетными статьями и брошюрами, но в Германии господствует уверенность, что Франция хочет захватить все немецкие земли до Рейна. Регент прусский в родственной переписке своей с принцем Альбертом, дочь которого замужем за его сыном, касался этого предмета. Содержание письма дошло, неизвестно каким путем, до сведения французского правительства нынешнего весною. Французский посланник в Берлине потребовал у прусского министра иностранных дел объяснений. Министр очень основательно отвечал, что частные письма регента к его родственникам не составляют правительственных актов, за содержание которых должны отвечать министры; он намекнул даже, что он не шпион и потому решительно не может знать содержания чьей бы то ни было частной переписки. Вопрос был сделан неловко, французская дипломатика должна была уступить. Но французское правительство имело сведения, что регент опасается его намерений, и не только имело эти сведения, но даже призналось, что имеет их. Удачно или неудачно, первый шаг был уже сделан, и надобно было сделать второй шаг по проложенной дороге. Император французов объявил, что хочет успокоить регента прусского

личным объяснением, готов для этого сам приехать в Баден и просил принца-регента согласиться на свидание, для которого он приедет. Публицисты различно судили о том, надобно ли было принцу-регенту принимать такое предложение. Большая часть прусских газет находила, что опасения должно успокаивать не словами и не объяснениями, а устранением причин к ним, и что Пруссия в союзе с остальной Германиею не так слаба, чтобы нуждаться в снисходительных уверениях. У принца-регента, вероятно, были причины иначе взглянуть на предложение императора французов. Если б он уклонился от свидания, это было бы истолковано как обидное пренебрежение и послужило бы предлогом для выражения неудовольствий. Но предосторожность, принятая принцем-регентом, показывает, что он разделял мнение немецких публицистов, говоривших, что свидание устраивается не просто для личной передачи миролюбивых уверений, что император французов намерен предложить принцу-регенту план территориальных перемен, которые, по мнению императора, будут одинаково выгодны и для Франции и для Пруссии. План этот, по объяснениям газет, состоял в том, что взамен рейнских земель, уступаемых Пруссиию Франции, Франция поможет Пруссии приобрести Мекленбург, Ганновер, почти все другие мелкие владения Средней Германии, наконец даже королевство Саксонское. Говорили, что даже Баден и Вюртемберг могли в таком случае сделаться прусскими землями; другие утверждали, напротив, что Баден и Вюртемберг сохранили бы свою независимость от Пруссии, составив с Бавариею возобновленный Рейнский Союз под покровительством Франции<sup>18</sup>. Но если было разногласие о судьбе, предназначаемой для трех южных второстепенных государств Германии, то все согласно говорили, что Среднюю и Северную Германию Франция готова предоставить Пруссии. В этом тоне говорили и французские полуофициальные газеты. Они объясняли, что Франция, чрезвычайно любя и уважая немецкую нацию, с грустью видит ее нынешнюю раздробленность, которая мешает ей занять между европейскими народами в политическом отношении такое же место, какое принадлежит ей в умственном. Но если бы Германия стала могущественным государством при нынешнем очертании восточной французской границы, Франция подверглась бы большой опасности; только это одно и может останавливать французов от содействия немцам в деле немецкого единства. Если же Германия обеспечит Францию уступкою земель до Рейна, тогда Франция даст полный простор своему сочувствию к немцам; а если Франция скажет: «я хочу, чтобы Германия получила единство», кто будет в силах помешать ему? Эти рассуждения сопровождались похвалами Пруссии, доказательствами, что Германия может достигнуть единства только тем, когда вся признает власть Гогенцоллернов<sup>19</sup>.

Такие толки должны были заставить регента прусского действовать со всевозможной осторожностью. Если бы нынешние потомки Фридриха II хотели действовать революционным путем, они без всякой чужой помощи соединили бы всю Германию под свою власть еще в 1848 и 1849 годах, когда франкфуртский парламент предлагал королю прусскому императорскую корону<sup>20</sup>. Но династия Гогенцоллернов сама не хочет этого: она желает поддерживать в Германии нынешний порядок, стремясь только к тому, чтобы получить перевес над Австриею в совете многочисленных немецких государей. Если бы ей удалось достичь этого, она придала бы несколько побольше силы федеративным связям, вероятно потребовала бы введения большего единства команды в союзной армии. Но прусское правительство не хочет низвергать престолов других немецких королей и герцогов, оно гнушается такими революционными мыслями. Если оно хотело бы увеличить свое влияние, то не иначе, как по добровольному соглашению с другими германскими династиями. Принц-регент прусский<sup>21</sup> хотел, чтобы другие немецкие владетели не могли иметь никакого сомнения в его чистоте от революционных замыслов, и потому пригласил всех важнейших второстепенных государей присутствовать при его свидании с императором французов. Они действительно приехали в Баден.

Их присутствие отняло всякую возможность говорить императору с принцем-регентом о чем-нибудь другом, кроме своих миролюбивых намерений. Консерватизм принца прусского не допустил самой возможности объяснений о том, каким бы образом произвести территориальные перемены. Таким образом, баденское свидание не повело не только к решению, но даже и к предложению того вопроса, для которого устраивалось французским правительством.

Но если оно было неудачно для Франции с формальной стороны, то могло послужить сильным ободрением для французских мыслей о рейнской границе; оно выказало неспособность Немецкого Союза к единодушию. Принц прусский, пригласив в Баден других немецких владетелей, тем самым дал им полнейшее ручательство в своей готовности поддерживать их престолы. Им показалось мало этого; они все-таки остались недоверчивыми к Пруссии и приехали в Баден не с намерением показать императору французов свою готовность помогать Пруссии в защите национальных границ, а только за тем, чтобы в минуту опасности для Германии потребовать у прусского правительства уступок. Они положили, прежде чем явятся присутствовать при свидании принца-регента с императором, изложить принцу-регенту условия, на которых стали бы поддерживать его против Франции, иначе сказать, условия, на которых стали бы защищать отечество. Это объяснение, происходившее накануне свидания с императором французов, составляет важнейшую черту



Баденского конгресса. Мы ни разу не излагали тех многочисленных споров, какие ведутся на немецком сейме между Пруссией и остальными немецкими государствами, опирающимися во всех этих случаях на Австрию или поддерживающими ее политику. В самом деле, вопросы эти неважны в общей европейской истории, а главное, ведутся так, что ровно ничего из них не выходит: после бесконечных споров все остается попрежнему. Но общий характер разногласий между Пруссией и остальными немецкими государствами теперь состоит в том, что Пруссия желала бы поддерживать умеренно-либеральную партию, а во всех других немецких государствах власть принадлежит ультра-консервативной партии. Второстепенные немецкие владельцы согласились объявить принцу-регенту, что он, в случае надобности, может рассчитывать на их содействие только тогда, если Пруссия откажется от своей нынешней политики и перейдет на сторону крайнего консерватизма. Но принц-регент, узнав об этом, решился первый высказаться на свиданье с ними, чтобы отстранить надобность отвечать отказом на их требование. Действительно, он, не дав им начать говорить, прямо изложил программу прусской политики, сказав, что ни в каком случае не может отступить от нее. После этого напрасно было второстепенным владельцам высказывать свои требования, и свидание их с принцем прусским обошлось без формального спора, который повел бы к открытому разрыву. Но если предусмотрительность принца-регента отклонила явную ссору, то второстепенные владельцы в сущности все-таки вышли после разговора с ним, еще более укрепившись в своем нерасположении к Пруссии. Этот разговор происходил накануне свидания с императором французов, когда общая польза Германии требовала бы полного единодушия. Быть может, способ действия второстепенных немецких владельцев в такую решительную минуту поможет со временем Германии достичь хороших результатов: он, конечно, усиливает между немцами убеждение в необходимости национального единства и разъясняет им, какого содействия ему должны они ожидать от второстепенных владельцев; но теперь пока он ободряет французов, видящих, что даже опасность не может заставить второстепенных владельцев искренно поддерживать Пруссию.

Таков результат баденского свидания с точки зрения императора французов, с точки зрения принца-регента прусского и самих немцев, желающих национального единства. Наполеон III, принц-регент и немецкие патриоты имеют желания очень различные, но все они обращают внимание на одну и ту же сторону этого события. Император французов и немецкие патриоты увидели, что прусское правительство даже в решительную минуту не хочет действовать революционным способом, что оно при защите Германии хочет опираться только на добровольное содействие второстепенных немецких правительств; вместе с

императором французов и немецкими патриотами принц прусский убедился, что на это содействие Пруссия не может полагаться. Вот сторона дела, занимавшая их. Но Австрия заинтересовалась другою стороною баденского свидания. Она увидела, что Франция предлагает Пруссии уничтожение всех второстепенных владений, с условием, чтобы ей самой получить левый берег Рейна. Принц-регент до того не расположен приобретать увеличение своего могущества этим путем, что устранил самую возможность официально предложить ему отдачу под его власть всей остальной Германии за уступку рейнских провинций. Но венский кабинет все-таки сильно встревожился самым существованием такого плана в Париже. Он или не доверяет искренности прусского правительства, или думает, что оно может быть приведено обстоятельствами к принятию политики, которую теперь отвергает. Эта перспектива ужаснула его. Действительно, если бы исполнился план, для переговоров о котором устраивалось парижскими дипломатами баденское свидание, венский кабинет лишился бы тех вещей, в которых ставит главную свою гордость. С незапамятных времен он полагал своею славою то, чтобы господствовать над второстепенными немецкими государствами, отнимать у Пруссии влияние на них, чтобы управлять ими посредством Германского сейма; удерживать Пруссию на втором месте в Германии, а самому занимать первое; — вот в чем находил он высшее свое удовольствие. Что же было бы по исполнении плана, о котором французские дипломаты хотели говорить в Бадене? Присоединив к себе всю Северную Германию и саксонские земли, Пруссия стала бы сильнее Австрии. Если бы уцелели Бавария, Вюртемберг и Баден, если бы не были они подчинены Пруссии, они стали бы в зависимость от Франции, и сила венского правительства ограничилась бы на западе и севере пределами австрийских владений. По мнению австрийских государственных людей, это было бы величайшим несчастьем для Австрии. Быть принужденным сосредоточить свои мысли на потребностях населения самой империи, лишиться возможности пренебрегать этими потребностями для интриг против Пруссии между второстепенными немецкими правительствами, — это кажется гибельно венским государственным людям. Они тотчас же принялись хлопотать об отвращении такой беды. Лучшим средством к тому нашли они заискивать расположение Пруссии, чтобы по дружбе с Австрией она отказалась от замыслов, которых на самом деле не имеет, но имеет по предположению подозрительного венского кабинета: начались переговоры с Берлином, начались оказываться ему любезности, начались даже предложения разных уступок по вопросам, в которых Австрия до сих пор противилась желанию Пруссии. Мы не имеем никакой претензии проникать в дипломатические секреты и, по обыкновению, находим, что совершенно достаточны те све-

дения, которые ни для кого не составляют тайны. Факты, напечатанные во всех газетах, показывают, что предложение теснейшего союза с Веной было принято в Берлине холодно и что холодность происходила из соображения очень верного. В каком случае и для чего была бы полезна прусскому правительству дружба австрийского? Конечно, только в случае войны против внешнего врага, а внешний враг может явиться только с запада, потому только для обороны западно-немецкой границы. При нынешнем состоянии своих финансов, при нынешнем расположении своих подданных может ли австрийское правительство оказать серьезную помощь Пруссии в войне на Рейне? В Берлине думали, что не может. Положение австрийских финансов так дурно, что серьезной войны с сильным неприятелем Австрия не может вести, — ведь и в прошлом году она принуждена была преждевременно объявить и через девять недель прекратить войну, потому что не имела средств дольше содержать войско в готовности к войне и дольше содержать его во время войны. Но даже и кратковременного усилия на Рейне не может она сделать в значительном размере, потому что большую часть своей армии принуждена держать в собственных недовольных провинциях и на Минчио по своим итальянским делам. Не только не принесла бы для Пруссии большой выгоды дружба с Австриею, в случае войны на Рейне, а напротив — обратилась бы в невыгоду берлинскому правительству. Без расположения со стороны западно-немецкого населения нельзя Пруссии защитить западную свою границу. Если теперь она считает себя в силах оборонить ее, она основывает эту надежду только на том, что подданные всех второстепенных немецких государств Северной и Средней Германии считают ее защитницею либеральных учреждений, представительницею национального единства. Какова бы ни была нелюбовь второстепенных правительств к Пруссии, общественное мнение принудит их действовать заодно с Пруссией, в случае нападения с запада. Но союзом с Австриею, при нынешнем ее устройстве, Пруссия теряла бы свои права на сочувствие патриотической партии; лишалась бы силы, которая в минуту опасности доставит ей невольную помощь второстепенных правительств. Газеты сообщали, что берлинский кабинет соглашается на союз с Австриею только под тем условием, чтобы Австрия получила конституционное правление. Не знаем, было ли сказано что-нибудь подобное официальным образом, но сущность дела такова, что полезность австрийского союза для Пруссии действительно зависит от этой реформы: только удовлетворив желаниям своих подданных, австрийское правительство приобретает возможность оказывать значительную помощь своим союзникам в войне.

Теперь известно, что холодность, с какою Пруссия приняла первые предложения Австрии, смягчена хлопотами венских

дипломатов, и принц-регент согласился иметь в Тёплице свидание с австрийским императором. Тут будут ему предложены со стороны Австрии разные уступки по разным второстепенным вопросам. Не знаем, удовлетворится ли ими Пруссия, или повторит высказанное официальными прусскими газетами условие союза, — требование перемены в австрийской правительственной системе. Всего вероятнее, что свидание не приведет к результату, какого ждет от него Австрия, не склонит Пруссию вступить с ней в наступательный и оборонительный союз; или, если бы и устроилось на бумаге что-нибудь похожее на такой союз, все-таки он будет иметь значение почти только на одной бумаге, а не на самом деле: венскому кабинету было бы слишком трудно искренно отказаться и от прежней своей политики во внутренних делах, и от прежних своих притязаний на преобладание в Германии. А без искренней уступки со стороны Австрии по обоим этим отношениям Пруссия не будет находить выгоды в союзе с нею. Но мы вовсе не то и доказывали, что венский кабинет вступит в тесный союз с Пруссией, — это было бы несогласно с преданиями австрийской системы; точно так же мы вовсе не доказывали, что он непременно сделает серьезные уступки, — напротив, мы много раз говорили, что они несовместны с его системою, — мы хотели только сказать, что уступки требуются от него со всех сторон.

Те же самые газеты, которые доказывают необходимость рейнской границы для Франции, стараются подготавливать Францию к войне с Англией. В своем усердии отыскивать поводы к войне они доходят до странностей. Так, например, они утверждали, что Англия устроила недавний заговор карлистов в Испании<sup>22</sup>, чтобы овладеть этой страной во время междоусобной войны. Мы ничего не говорили об этом карлистском заговоре, потому что он не стоил никакого внимания. Один из генералов, собрав подчиненные ему войска, объявил, что правительство приказало ему вести их в Мадрид, и они пошли, ничего не подозревая. Но лишь только он объявил им, что хочет действовать в пользу графа Монтемолина, они тотчас же бросили его; он был арестован и поплатился жизнью за измену. Претендент и его второй брат, явившиеся в Испанию, легко были взяты в плен, и вся история кончилась без малейших хлопот для испанского правительства. Труднее бывает полиции разогнать какой-нибудь десяток пьяных буянов, чем было для О'Доннеля и его товарищей сладить с восставшими реакционерами. Англия помогла утвердиться в Испании нынешней форме правления, всегда поддерживала ее и не может не поддерживать. Нужно слишком горячее воображение, чтобы придумать, будто бы она помогала теперь или когда-нибудь вздумает помогать карлистам. Но французские полуофициальные газеты говорили это и выводили из такого обвинения необходимость

усмирить Англию, чтобы она не нарушала спокойствия Европы. Точно такой же вывод делали они из сицилийских событий. Гарибальди оказывался у них агентом Пальмерстона и приехал в Сицилию за тем, чтобы покорить ее для англичан. Из этого опять следовало, что надобно отнять у Англии средства поднимать смуты в Европе, что пока французы не возьмут Лондон, до тех пор Европа не будет иметь мира. Наконец явилась брошюра, пустившаяся в такие соображения, каких не отваживались сделать полуофициальные газеты. Эта брошюра называется «Мак-Магон, король Ирландский». Она собирает из старинных книг факты о страдальческом положении ирландцев, не обращая внимания на то, что многие из прежних бедствий Ирландии теперь уже исчезли, а другие постепенно изменяют свой характер, и что Ирландия с каждым годом приближается к тому положению, в каком находится сама Англия. Брошюра доказывает, что ирландцы лишены всех прав (хотя они теперь пользуются совершенно такими же правами, как англичане), что английские протестанты угнетают ирландских католиков (хотя католическое духовенство пользуется в Ирландии гораздо большею свободою, чем в самой Франции, и давно уничтожена всякая политическая разница между протестантами и католиками); из этого брошюра выводит, что ирландцам для достижения религиозной свободы и политических прав необходимо восстать против Англии, выбрать своего особенного короля, и находит, что лучше всего они сделают, если выберут королем маршала Мак-Магона<sup>23</sup>.

Разумеется, все это не больше как шалости, но они показывают систематическое стремление раздражить старинную вражду французов к Англии.

Все эти обстоятельства и множество других фактов такого же рода не дают англичанам свободы думать ни о чем, кроме приготовлений к обороне своей земли. Читатель знает, как деятельно ведутся эти приготовления. Гавани и прибрежные крепости вооружаются, и теперь газеты заняты рассуждениями о том, как укрепить Лондон, чтобы неприятельская армия не могла приблизиться к нему и тогда, если прорвется через цепь прибрежных укреплений и если опрокинет английские войска, которые встретит по дороге. Сильное развитие волонтеров, которых считается теперь до 120 000, которые все вооружены штуцерами и уже приучились хорошо стрелять и очень порядочно маневрировать, много ободряет англичан. Смотр лондонских волонтеров, недавно происходивший в Гайд-Парке, показал, что они выучились даже маневрировать очень недурно; а меткостью стрельбы и совершенством оружия они превосходят линейную пехоту французской армии, — это доказано происходившим недавно состязанием в стрельбе на призы. Но все-таки высадка неприятельской армии нанесла бы громадные потери Англии,

хотя, без малейшего сомнения, и кончилась бы совершенным истреблением высадившегося неприятеля. Волнуясь этим опасением, английское общество не имеет досуга заняться никакими важными внутренними вопросами. Лорд Россель принужден был взять назад свой билль о реформе, потому что публике было не до парламентской реформы, а без большого понуждения со стороны общественного мнения нельзя провести через парламент этого дела, нарушающего интересы всей торийской партии и очень многих депутатов из партии вигов. Столь же ясно свидетельствует о невозможности заниматься внутренними вопросами другое дело, для объяснения которого надобно войти в некоторые подробности.

Одно из главных реформ в системе налогов, по бюджету, предложенному Гладстоном, было отменение налога на писчую бумагу. Он доставляет около 8 500 000 рублей серебром дохода, но сильно затрудняет распространение дешевых изданий, то есть разлитие образованности в массу народа, и кроме того стесняет очень многие отрасли промышленности, употребляющие оберточную бумагу. Люди, сочувствующие просвещению массы, давно требовали его уничтожения. Но уничтожить его значило бы навсегда перенести тяжесть, слагаемую таким образом с косвенных налогов, на прямые налоги и собственно на налог с доходов, которым особенно недовольны землевладельцы, пользовавшиеся до его учреждения почти совершенною свободою от всяких налогов. Налог на доходы то повышается, то понижается, смотря по государственной надобности; но уничтожение налога на бумагу делало бы необходимою постоянно брать с доходов одною половиною процента больше, чем нужно при его сохранении. Само собою разумеется, что такая реформа должна была возбуждать сильное неудовольствие в палате лордов, служащей представительницею землевладельческих интересов. Землевладельческая партия располагает и в палате общин почти целою половиною голосов: все тори — или землевладельцы, или представители землевладельцев. Если бы общественное мнение могло сильно заниматься теперь внутренними реформами, некоторые тори в палате общин уступили бы его влиянию, и билль об уничтожении налога на бумагу прошел бы через палату общин с значительным большинством голосов. Но теперь ни один тори не видел надобности жертвовать своими расчетами, и большинство на стороне билля оказалось очень небольшое. Палата лордов ободрилась. Кроме того, у ней был очень благовидный предлог. При нынешнем шатком положении дел правительство не должно лишать себя запасных средств на чрезвычайные расходы, говорили противники билля: на всякий случай лучше иметь слишком миллион фунтов избытка доходов, чем иметь бюджет, в котором доходы только уравнивались бы с расходами. Палата лордов отвергла билль.



Основателен ли предлог, под которым она отвергла его, действительно ли палата общин поступала неосторожно, уничтожая при нынешних обстоятельствах налог, доход с которого был бы запасом на экстренные расходы, — не в том дело. Надобно полагать, что Глэдстон и манчестерская партия, требовавшие отмены налога на бумагу, понимают финансовые дела гораздо лучше, чем лорды; составитель билля и его защитники, проницательнейшие и опытнейшие финансовые люди в целой Европе, вероятно, понимали, что они делали; вероятно, обдумали, откуда взять денег на экстренные расходы, и, вероятно, в ошибке были не они, а большинство палаты лордов, отличающееся допотопными понятиями. Теперь это уже доказано дополнительным бюджетом Глэдстона, по которому деньги на экстренные расходы китайской войны получают через повышение налога на спиртные напитки. Но все равно: пусть Глэдстон и его защитники ошибались, пусть основательность расчета была на стороне палаты лордов. Вопрос не в этом, а в том, имеет ли палата лордов право вмешиваться в финансовые дела. По духу английской конституции, власть над финансами принадлежит исключительно палате общин. Палата лордов превысила свою власть, нарушила конституцию, вздумав отвергнуть финансовую меру, принятую палатою общин. В иное время, когда внимание нации не было бы отвлечено от внутренних дел заботами иностранной политики, палата лордов не отважилась бы на такое дело, а если бы отважилась, то потерпела бы жестокое поражение. Общественное мнение потребовало бы, чтобы палата общин поддержала свои права; палата общин приняла бы суровые решения против палаты лордов, и мало того, что принудила бы лордов уступить в этом вопросе, — дело кончилось бы тем, что они вообще потеряли бы часть своих привилегий. Теперь не то. Нации нет времени заниматься спорами по внутренним делам, и прогрессивная партия в палате общин не может сделать ничего против тори, сочувствующих лордам. Комитет, назначенный палатою общин для исследования дела, постарался замять его, и оно кончилось неопределенным, слабым, ничего не решающим протестом.

Как будто мало было в Европе поводов публицистам и государственным людям разных наций спорить, недоверять, опасаться, возникло на Востоке очень прискорбное обстоятельство, служащее новою причиною взаимного недоверия. Мы не будем подробно рассказывать о событиях, происшедших на Ливанском хребте, потому что они принадлежат к вещам, очень обыкновенным в Сирии: друзья, соединившись с мусульманами, напали на племена, исповедующие христианство, разграбили и выжгли деревни и города, которыми могли овладеть, изнасиловали женщин, перерезали всех, кто не успел бежать. Турецкие солдаты помогали разбойникам. Это совершенно в порядке вещей во

всей Турции, тем более в Сирии, где мусульмане особенно фанатичны и наглы. Бесчисленные опыты показали, что турецкое правительство не хочет, да если б и хотело, то не может избавить своих подданных (не одних христиан, но даже и тех мусульман, которые занимаются мирными промыслами) от грабежей и всяких насилий. Но европейские державы до сих пор ограничиваются полумерами, по взаимному соперничеству. Так и теперь, конечно, ничего прочного не выйдет из вмешательства, на которое они решились. Французские, английские и другие корабли посланы в Бейрут. Их появление остановит разбойников, но через год, через два возобновится та же история. Газеты очень много толкуют теперь о сирийских делах, даже рассуждают о важных переменах, которые произойдут из них в европейской политике. Само собою разумеется, что все это не больше, как праздные толки. Тысячи людей в Сирии перерезаны, десятки тысяч ограблены; теперь, может быть, будет убито несколько десятков убийц, — тем дело и кончится до следующего точно такого же случая<sup>24</sup>. Причины к переменам в отношениях между европейскими державами даются самой Европою, а не Азиею.

### ПАЛЕРМСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «Times-a»

(в извлечении)

5 июня, в два часа дня, Ланца прислал офицера к Гарибальди с предложением, что неаполитанцы готовы очистить королевский дворец и все другие позиции, занимаемые ими в городе, если ему будет позволено удалиться в северо-восточную часть гавани, где находится мол.

«Город образует почти правильный параллелограмм, который тянется от берега к горам с северо-востока на юго-запад. В северном углу его, на берегу, стоит цитадель, занимаемая войсками. На противоположном углу параллелограмма стоит дворец; подле него бастион, образующий западный конец города, и ряд больших зданий на площади перед дворцом, — этот бастион и здания, вместе с дворцом, были заняты неаполитанцами. На юго-западной стороне, от морского берега до Терминских ворот, тянется одно большое здание, мимо которого идут два шоссе, одно в Мессину, другое в Катанию. Почти параллельно с морским берегом идет дорога в Трапани; направо от этой дороги, в трех милях от города, находится большая открытая местность, прилегающая одною стороною к трапанской дороге, а другою к Monte Pellegrino. Местность эта называется лагерем, потому что служила полем для маневров королевским войскам. Вот на ней-то хотели сосредоточиться неаполитанцы, оставив королевский дворец».

Она представляла для них то главное удобство, что находилась подле гавани, и просьба перейти на нее из королевского дворца уже показывала, что Ланца оставил всякую мысль о продолжении борьбы, думая только об отъезде из Палермо. Но переговоры об этом были прерваны возвращением генерала